отрочество
отрочество



отрочество
отрочество

# СОЛОВЬИ

ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

# СОЛОВЬИ

*Рассказы о первой любви*

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1986

*ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ*

## ДРУГУ СМОТРИ В ГЛАЗА

### 1

Маленький автобус с промерзшими стеклами, весь в клубах белого морозного пара, подкатил к конечной остановке, дверцы со скрежетом раскрылись, и я с чемоданчиком в руках выпрыгнул на утрамбованный ногами снег. На мне была длинная, черного цвета, как и мой чемодан, суворовская шинель. Поставив чемодан на землю, я поправил на голове шапку, одернул шинель, подтянул ремень, похлопал по лампасам брюк перчаткой, словно отряхивая их от снега, и, подхватив чемоданчик, отправился наконец по дороге.

Я шел и всем своим видом старался показать легкость, радостность своей походки, но давалось это с трудом: чемодан был тяжеловат. Сначала на почтительном, а затем на совсем близком расстоянии от меня следовала группа поселковых ребятишек. Восхищение мной, которое с неподдельной искренностью светилось в ребячьих глазах, наполняло меня гордостью — не личной, а за всех нас, моих товарищей-суворовцев, и силы от этого удесятерялись.

Толпа ребятишек все разрасталась, и это в конце концов измучило меня. Я не мог у всех на виду поставить чемодан на землю и отдохнуть: было стыдно — могут ведь подумать, что не очень силен наш брат,— и я лишь изредка перехватывал его в другую руку и шел дальше. Силы мои были на исходе; тогда, прежде чем свернуть в переулок и выйти на родную улицу, я вдруг внезапно остановился, обернулся и начал в упор смотреть на преследователей. Это их очень сму-

тило; не понимая, почему я так твердо и даже как-то рассерженно смотрю на них, они начали потихоньку рассеиваться, расходиться кто куда, пряча почему-то глаза... «Ладно, ладно,— думал я,— ничего...» Я снова зашагал вперед, свернул в проулок и незаметно покосился назад. К ужасу моему, за мной плелся один мальчишка, на вид первоклашка, но какое-то взрослое упорство было в его глазах, когда я крикнул ему: «Ну! Чего тебе надо?» Он не испугался, хоть и остановился, и отважно спросил:

— Скажите, вы правда суворовец?

— Разве не видишь?

— А-а...— как-то очень неопределенно протянул он, словно бы даже разочаровавшись в чем-то, повернулся и медленно пошел прочь.

Наконец-то я вздохнул, когда, выйдя на свою улицу, поставил чемодан на землю, никого теперь не стесняясь да и никого не видя — улица наша короткая и малолюдная. Сладко мне было отдыхать, чувствовать даже немоту в руках. И стоял я так долго, пока не заметил в конце улицы какого-то человека, вышедшего, видно, со двора на улицу подчистить снежок у дома. Я снова поднял свой чемодан. Был ясный, не очень морозный, звонкий день; я шел и слушал равномерный, приятный для меня скрип собственных сапог; теперь мне было легко. Я подходил к дому, где жила Саша, уже не слыша поскрипывания сапог, а чувствуя лишь гулкие удары своего сердца. Я проходил мимо ее дома, как проплывал: медленно, плавно, важно, со значением,— но я не знал, видел ли кто-нибудь меня в окно, да и вообще видно ли что-нибудь в окно, может, стекло замерзло? Но я хотел, чтобы Саша увидела меня сейчас! Видела ли?

Так и прошел я мимо, не зная...

Вечером, захватив с собой коньки, я все кружил около Сашиного дома, надеясь случайно встретить ее. И все-таки, когда она с портфелем в руках вышла из-за поворота, вероятно, возвращаясь из школы домой, и мы столкнулись почти лицо в лицо, я растерялся от неожиданности и смущения.

— Здравствуй, Саша...— пролепетал я.

— Здравствуй...— споткнувшись на слове и оробев от этого, ответила она.

На ней были валенки, черная шубка и спортивная вязаная шапочка, из-под которой выглядывали две черные косички с алыми бантами.

— А у меня каникулы!— весело и трепетно сказал я.— И дома никого. Пойдем кататься?— И показал на коньки.

— Здорово!— сказала она.— А у нас только с завтрашнего дня. Вот не везет!

Мы медленно пошли по направлению к их дому. Она вдруг весело рассмеялась:

— А вот меня возьмут и не отпустят! Давай говорить «ты»?

— Давайте... Давай...— поправился я и сказал:— А ты скажи дома...

— А вот и не буду ничего говорить! Давай вместе зайдем?

— Неудобно знаешь как!..

— Да у меня папка вот какой хороший! Пошли,— потянула она меня за руку.

Пришлось слушаться.

— О, да к нам сегодня гости!— воскликнул Сашин отец, завидев нас.— Да какие гости! Ну, проходи, проходи, молодец...

— Да нет, я тут... я сейчас... Здравствуйте.

— Папа, можно я с Володей... можно, мы на каток сходим?..

— О чем разговор! Да проходи, проходи, не стесняйся. Что же, я тебе руку через порог, что ли, жать

буду? — Он все-таки затянул меня в комнату прямо в шинели и, с уважением заглядывая мне в глаза, которые я прятал от смущения — ухажер все-таки! — крепко пожал мне руку.

А я вдруг так растерялся оттого, что взрослый человек пожал мне руку, что чуть с ходу не взял под козырек и не выпалил: «Здравия желаю!..»

— Как там жизнь военная? — спрашивал меня он, пока Саша бегала по комнатам, собираясь на каток.

— Жизнь военная ничего, — пищал я детским баском.

— Служишь?

— Приходится, — отвечал я важно. — Служу.

— Ну, и как там, на Курильских островах? — рассмеялся он весело. — Ничего?

А я не знал, как там, на этих островах, и отвечал:

— Да на Курильских островах все по-старому. Ничего.

— Учишься как, тоже ничего?

— Ничего. Отлично.

— Слыхала? — крикнул отец Саше. — Кавалер твой вон как учится. А ты?

При слове «кавалер» я покраснел и опустил глаза.

— Так, так... — говорил отец. — Ну-ну... Молодец. По мамке не скучаешь?

— Вот еще!

— Пошли! — выручила наконец Саша. — Готова.

На катке играла музыка; искрились гирлянды зажженных разноцветных ламп; мощные прожекторы освещали удивительный мелькающий калейдоскоп платьев, курточек, брюк, шапочек, свитеров, бантиков, шарфов. И в этот калейдоскоп мы влились, как в свою стихию, и сначала катались на некотором расстоянии друг от друга, а потом — взявшись за руки. Первый раз в моей жизни я катаюсь с девочкой за руку, оберегая и защищая ее, а не то что разбегаюсь, толкаю или даже сшибаю девчонку с ног, как это бывало на училищном катке, где от смущения и робости не находишь иного способа выказать свои чувства понравившейся девчонке. И там, на катке, нам было и странно, и завидно смотреть на наших суворовцев-старшеклассников, которые катались со своими девчонками спокойно, степенно, о чем-то таинственно разговаривая и над чем-то заговорщически, взволнованно смеясь. Даже когда мой друг Валька приводил на каток Иру, им и в голову не приходило взять друг друга за руку, а я к тому же не отставал от них ни на шаг. Обычно я словно с ума сходил, разгонялся и со всего маху старался врезаться в них, сшибал то Вальку, то Иру, то сам больно падал, и никто даже и не думал на меня обижаться, или начинал на глазах у обоих выделывать какие-нибудь штуки, которым специальных названий, наверно, и нет, но которые многие из нас умели делать из лихости, озорства и хвастовства. Валька к тому же большинство этих фигур делать не мог и потому, по моим представлениям, в глазах Иры должен был выглядеть слабаком; когда рядом с нами была Ира, вернее, когда рядом с ними был я, наша дружба с Валькой превращалась в яростное соперничество, особенно с моей стороны. Надо отдать Вальке должное: он никогда не обижался на меня, он вообще был самый безобидный человек на свете...

Хотя я пришел на каток в суворовской форме, я не особенно выделялся на общем пестром фоне; само собой приходило ко мне ощущение свободы. Но вскоре перед нами образовывался коридор: нам давали дорогу, а это значит, что нас всюду замечали и за нами наблюдали. Мне вдруг показалось, что все как будто

чего-то ждут от нас, от меня, чего-то необыкновенного и красивого, раз уж если не я, то моя форма была такая красивая и необыкновенная... И со мной началось то, что случалось почти всегда. Я начал выделывать свои штуки, убегал далеко от Саши, крутился, вертелся, или прыгал, или вдруг резко тормозил, так что лед искрами летел из-под моих коньков. И так как я был занят самим собой, я не замечал, что теперь на меня глядели вокруг уже не с добротой или восхищением: хвастунов нигде не любят. И лишь когда со всего размаха я неожиданно растянулся около самых ног Саши и от боли даже не смог сдержаться, чтобы не вскрикнуть, я услышал веселый и даже злорадный смех, который летел отовсюду прямо мне в лицо.

— Вставайте,— услышал я.— Что, сильно брякнулись?

Я поднял глаза и увидел того первоклашку, который еще днем преследовал меня чуть не до самого дома.

«Вот еще,— подумал я.— Опять этот...» — и ничего ему не ответил, быстро поднялся, и наши с Сашей глаза встретились.

Мы сели с Сашей на скамейку отдохнуть. Я был злой, растерянный и глядел на катающихся ненавидящим взглядом, так что огни точно плыли в моих глазах. А Саша, видно, вспомнила, как нелепо я растянулся перед ней, и рассмеялась веселым обидным смехом. И тут — про себя — я ей припомнил Гену, подумал: над ним-то, наверно, не смеялась бы...

Я почувствовал чей-то взгляд, оглянулся и снова увидел настырного первоклашку, в упор смотревшего на меня.

— Эй ты!— крикнул я ему.— Долго ты будешь тут вертеться?

— А-а...— опять как-то неопределенно протянул он, как бы в чем-то разочаровавшись, но поняв меня; понурив голову, он неумело покатился от нас в середину катка...

А Гена был тот мальчик, из-за которого Саша, пока я не стал суворовцем, так долго не дружила ни с кем из нашего класса; об этом я узнал из ее же писем.

Семья Саши переехала к нам из соседнего городка Валапаевска, где и жил Гена, с которым Саша раньше дружила. Помня его, она почему-то презирала остальных ребят. И чего она в нем нашла?..

Я настороженно покосился на Сашу, потому что она все еще смеялась.

— Пойдем на елку?— неожиданно предложила она.

— Здорово ты смеяться научилась!

— Я как в классе прысну, так меня чуть не выгоняют. Марья Петровна думает, что над ней!

Мы сняли коньки и пошли на площадь. На площади у нас всегда устанавливали огромную елку.

— Завтра Новый год! Не верится...— Саша вздохнула.— Володя!

— Ну?

— Ты из автомата стрелял?

— Стрелял,— соврал я.

— Страшно?

— Мы же не девчонки...

— Ты, значит, офицером будешь, да?

— Лейтенантом.

— А кто лучше, лейтенант или суворовец?

— Лейтенант, конечно.

— Хорошо быть мальчишкой!

— Еще бы! Мальчишки всегда солдаты. Кто вас защищает от врагов?

— А вам шпионов показывают?

— Бывает...— врал я с важным видом.

Зимний городок, посреди которого высилась сказочная елка, сплошь усыпанная огнями и игрушками, на этот раз показался мне особенно



прекрасным. Даже в большом городе, где я учился, не было ничего похожего. Городок был окружен прозрачным, изо льда, забором, светящимся изнутри разноцветными лампами. Всюду гирлянды света, елка медленно вращается и вся полыхает-переливается, толпы смеющихся, визжащих ребят, катушки, катушки в виде пасти льва, головы Руслана, в виде домика Бабы Яги, а вокруг всевозможные звери — медведи, волки, лисицы, олени, все сплошь из светящегося льда и снега; вот великан Дед Мороз, а рядом — изумрудная под светом Снегурочка...

Мы забыли с Сашей обо всем на свете, влились в общий поток. И пошло-понесло... Забирались на катушку, врезались в толпу, летели вниз — крик, визг, писк, смех: нечаянная подножка, все летят в стороны и друг на друга — куча мала! Куча мала! Смех, взрывы смеха, радость, счастье... И мы опять наверху и опять вместе — и вот мчимся вниз, падаем, перевертываемся, смеемся... Летит в сторону моя шапка-ушанка с красной звездой, я ее ищу, ищу, едва нахожу, мы ищем вместе и без конца смеемся, смеемся...

Мы прощаемся около Сашиного дома. Она снимает с руки варежку и протягивает мне ладонь; я беру ее теплую ладонь, осторожно и стыдливо, говорю:

— До свидания...

Саша кивает и убегает. Все хорошо, все очень хорошо.

А дома, едва переступив порог, я попадаю в самые родные объятия. Мама тискает меня, гладит, обнимает, смеется, плачет, шепчет: «Родной, родной мой, исхудал... А вот это ты зачем, это зачем, откуда?..» И она ведет меня в большую комнату, где на столе лежит открытый мой чемодан, доверху набитый спелыми, яркими, сочными яблоками...

— Это все вам, на Новый год,— говорю я.— С наступающим Новым годом, мама! Подарок это... мой...— говорю я с трудом, потому что мама очень сильно обнимает меня и вдруг по-настоящему плачет.

— Родной мой...— шепчет она.

В училище каждый день нам дают яблоки, и вот я выменял у ребят на печенье, сахар, котлеты, компот много-много яблок, потому что яблок зимой в поселке не бывает никогда, а мама любит яблоки.

Я засыпаю в эту ночь в мягкой постели, на мягкой подушке, под ватным теплющим одеялом. Все хорошо, все просто прекрасно!

Завтра Новый год...

Я медленно засыпаю. Рядом со мной мое счастье, моя мама.

## 2

Утренний сон прерывается резкой командой: «Подъем!» Распахиваешь глаза и еще не сразу понимаешь, что ты уже не дома, а в училище. Позади — вчерашние слезы и блаженный сон-воспоминание. Впереди — суворовская жизнь. Времени на размышления ни секунды. В казарме все кипит: мелькают простыни, одеяла, гимнастерки, брюки, портянки, сапоги. «Ррро-ота,— уже слышится неумолимая команда дежурного сержанта,— выхходи строиться!» Ты не успеваешь, в спешке плохо наматываешь портянку, нога не идет в сапог... «Ключицкий, вы что там возитесь?.. Сидоров, быстрей!.. Сапегин, оставьте постель в покое!.. Что? Я кому сказал! После будете заправлять! Пинчук, хватит возиться с ремнем! Вы что, не слышали, форма одежды — гимнастерка навыпуск. Хватит пререкаться! Потапенко, вы у меня заработаете наряд вне очереди. Нечего смотреть невинными глазами. Марш в строй!» И уже через несколько секунд тот же голос командует: «Ррро-ота, рав-

няйсь! Смирно! Напра-во! На зарядку шагом марш...»

Выходим на улицу. Зима. Февраль.

— Ррро-та, бегом марш!

Наконец только приходим в себя. Холодно. Энергично работаем руками и ногами, чтобы согреться. Рассвет еще только идет, тускло кругом... Рота за ротой выбегаем за училищную ограду. Пробежка. Горячая сила вливается в мышцы, лица пылают, над строем клубится пар дыхания.

После зарядки, во время утреннего осмотра, в казарме неожиданно появляется командир роты подполковник Веденин.

— Товарищи суворовцы! — объявляет он застывшему строю. — В честь приближающегося праздника командование училища постановило провести многодневный лыжный поход. Каждой роте определен свой пункт назначения. Нашей роте приказано...

И когда я слышу, что́ приказано нашей роте, я не верю своим ушам. Я пихаю локтем Вальку, который стоит слева от меня, и выразительно говорю ему глазами: понял? Но Валька ничего не понял, и я зло и восторженно шепчу ему:

— Да ведь это где я живу... К нам домой...

— Левый фланг! Разговоры! — хмурится подполковник. — Сержант Пелипенко, у вас что там, взвод суворовцев или собрание базарных кумушек?

— Никак нет, товарищ подполковник! — отчеканивает командир взвода и грозит мне пальцем. — Взвод суворовцев, товарищ подполковник!

— Дисциплинки во взводе не хватает! — И дальше уже прежним тоном продолжает: — Выход назначен на шесть ноль-ноль двадцатого февраля сего года. Приказываю: командирам взводов и офицерам-воспитателям полностью обеспечить готовность взводов. А также приказываю: девятнадцатого февраля сего года в восемнадцать ноль-ноль повзводно быть готовыми для смотра-проверки. Ро-тта, слушай мою команду! Направо! На завтрак ша-агом арш! (Рота с ходу печатает шаг.) Сержант Пелипенко, ко мне!

Целую неделю мы только и делали, что готовились к походу. Подгоняли лыжные крепления, учились быстро и плотно скатывать шинели (делать скатки), тренировались правильно укладывать в вещмешок походные принадлежности: запасное теплое белье, байковые портянки, солдатские котелки, ложки, кружки, лыжную мазь, запасные части креплений, неприкосновенный запас и многое другое. Каждый день часа по два проводилась репетиция ротного хора — мы должны были выступить с художественной самодеятельностью перед пионерами нашего поселка. Мы с Валькой еще участвовали в гимнастических пирамидах — коронном номере нашего концерта. На эти тренировки тоже уходило немало сил и времени. Были у нас свои чтецы, певцы, музыканты, жонглеры, даже боксеры должны были выступить с показательным боем. Все кипело и готовилось...

Больше всех, конечно, волновался я — и за свой родной поселок, и за то, как нас встретят, и за то, понравимся ли мы со своим концертом и нашими гимнастическими номерами. При одной мысли, что меня в пирамидах увидит, возможно, и Саша, мне становится жарко от волнения и гордости. Пирамиды были сложные, и нам всегда подолгу и горячо хлопали, когда мы выступали с ними. Вальке приходилось выделывать самые опасные трюки, и я уже заранее гордился смелостью Вальки, потому что он был лучший мой друг.

Рано утром двадцатого февраля на мощных крытых грузовиках нас вывезли за город. Ехали мы довольно долго, и наше возбуждение, наши бравые поначалу солдатские песни, шутки, смех,— все это вскоре прошло и иссякло. Мы замерзли и жались друг к другу; было темно, холодно и как-то одиноко.

На пункте переформировки нам устроили быструю пробежку, и мы разогрелись...

Длинная цепочка лыжников протянулась далеко в глубину, к горизонту. Наш взвод замыкал колонну, и всю эту растянувшуюся вдаль змейку было хорошо видно под ярким зимним солнцем. Снег теперь уже искрился и переливался. С каждым шагом вперед становилось теплей и веселей; вскоре даже наступили минуты, когда все тело, с головы до ног, было охвачено чувством восторга и бьющей через край радостью жизни.

Мы шли точным, равномерным шагом, не уставая и не задыхаясь; скатка и вещмешок приятно тяжелили плечи. Кто-нибудь из товарищей оглядывался и просто так, из озорства кричал: «Не отставай, не отставай!..» Ему понимающе подмигивали или улыбались в ответ.

Километров через шесть-семь равномерного, неторопливого хода мы уже не видели, как искрится вокруг нас снег, как красив вдали пихтовый лес, как переливается под солнцем красная крыша обгоняющего нас по параллельной дороге автобуса. Перед глазами была лишь спина товарища с вещмешком и скаткой и беспрестанно, бесконечно, безостановочно мелькающие и убегающие от тебя задники его лыж... Отчаяние то отступало, то с новой силой накатывалось на тебя, но ты шел и шел, потому что шли все.

Через тринадцать километров был сделан привал на обед; мы готовы были сбросить с себя все и повалиться на снег, но слышали команду, строгий голос и подчинялись. Аккуратно, в круг, сложили все скатки, лыжи сняли с сапог (у нас были ременные крепления) и выстроились, как на параде, в одну линейку; ровным строем возвышались рядом и палки.

Ноги гудят, на глаза накатывается слезный туман, руки вялые, движения замедленные.

Походная кухня уже давно поджидает нас. Мы выстраиваемся в длинную повзводную очередь, и толстый наш повар дядя Миша, подмигивая и ободряюще улыбаясь, щедро плескает в наши котелки мясные горячие щи. Мы отходим и рассаживаемся на скатки вокруг командира взвода. Пелипенко, конечно, нисколько не устал, ему эти тринадцать километров — раз плюнуть. Мы молча едим и начинаем постепенно отходить; руки, это чувствуется по ложке, мелко дрожат. От командира роты, получив новые указания, возвращается наш офицер-воспитатель майор Симуков. Он тоже садится в круг и принимается за котелок.

После обеда мы начинаем даже смеяться... Майор рассказывает нам военный анекдот про старшину. Мы смеемся.

— Пинчук,— говорит майор,— а вы ведь как старшина этот.

— Почему?— обижается Пинчук.

— Тоже часто не знаете, где у вас что.

Не смеется лишь наш взводный силач Говоровский. Он так устал, что ему не до смеха. Кроме прочего у него за плечами взводная походная рация. Тяжело.

Впереди снова лыжня. Я усмехаюсь, вспоминая маленькую потешную фигурку, которую на привале Валька вырезал из сучка сосны. Оборачиваюсь и улыбаюсь. Он улыбается в ответ и спрашивает глазами (он через несколько человек

от меня): что? Я снова смотрю вперед и скоро уже опять ничего не вижу, кроме задников лыж своего товарища, и ни о чем не думаю, кроме: надо, надо, надо...

Когда мы входим в поселок, прошагав при полной амуниции еще двенадцать километров, нас встречает бодрым маршем пионерский духовой оркестр. Мы устали, у нас нет сил, но мы улыбаемся, мы горды и счастливы. Мальчишки и девчонки бегут за нашей колонной до самой школы, где роте будет предоставлен ночлег. Среди ребят около школы я замечаю Галку Сорочинцеву, Витальку, Сережку, Наташу, товарищей моих по тимуровской команде. «Вов-ка, Вов-ка!..» — слышу я и машу им в ответ рукой. Глазами я ищу ее. Она стоит немного в стороне от всех. Я только успеваю махнуть ей рукой и жестом сказать «подожди», как начинаются команды, и уже ничего не видишь, а только слушаешь и выполняешь приказы.

С Валькой, в виде исключения, нас отпустили ко мне домой — на вечер и ночь. Мы выскочили из школы; многие уже разошлись, но Саша стояла на прежнем месте.

— А вот вам подарок,— сказал Валька и протянул Саше деревянную фигурку, когда мы втроем зашагали домой.

— Кто э́то?— рассмеялась Саша.

— Бабай.

— Какой Бабай?

— Ну, это как Баба Яга, только мужчина.

Мы так и покатились все со смеху.

Тут из-за угла, как будто случайно, вынырнула Галка Сорочинцева, и вот домой мы уже идем вчетвером. Галка тараторит, как сорока, и без конца о чем-то спрашивает меня, и я машинально отвечаю, потому что мне как-то неспокойно. Мне не очень слышно, о чем говорят Саша с Валькой, зато безостановочный, заразительный смех Саши слышен хорошо. А я и не знал, что Валька так может смешить. И что он там такое говорит ей? Я злюсь на Галку, как не злился еще никогда на нее: я знаю, она нарочно тараторит и нарочно заставляет меня без конца отвечать на ее вопросы, чтобы досадить Саше. Выбрав момент, я, словно нечаянно, оборачиваюсь и вижу вдохновенное лицо Вальки и смеющиеся, счастливые глаза Саши...

3

На следующее утро после торжественной части мы даем во Дворце пионеров концерт. Зал рукоплещет нам. От волнения я не нахожу себе места. В пирамидах нас участвует семь человек, и все, кроме Говоровского, волнуются. «Через три номера»,— предупреждают нас. Волнение подступает к горлу... Мы все в белых шелковых майках, белых носках и черных атласных трико. Обычно чувствуешь себя подтянутым, а теперь такое состояние, точно ты натянут, как струна. Осторожно выглядываю из-за кулисы. Нахожу глазами Сашу. Вижу только ее. От волнения ладони становятся влажными.

Вот Женька Матвеев вышел читать свою балладу.

— Константин Симонов. «Сын артиллериста»,— несколько охрипшим голосом объявляет он. Но это ничего, пройдет. Голос у него замечательный, пробирает слушателей до озноба:

> ...А у майора Петрова
> Был Ленька, любимый сын,
> Без матери, при казарме,
> Рос мальчишка один...

Я вслушиваюсь и узнаю строки, от которых хочется плакать, так они отдаются в душе. И снова выгля-

дываю из-за кулисы и вижу настороженный, внимательный ее взгляд. Мне и хорошо и больно. Мне обидно. Я вспомнил, как после торжественной части сегодня я увидел их вдвоем, Сашу и Вальку, в коридоре. Они разговаривали. Я подошел, вокруг бурлило от школьников и моих товарищей-суворовцев, и они не замечали меня, ни Саша, ни Валька. Это показалось мне таким странным! Как будто они нарочно делали вид, что не замечают меня, но в том-то и дело, что не нарочно, а в самом деле не видели меня. И какая-то сила толкала меня не открываться им, и я услышал, как он говорит ей о бабочках, гусеницах, каких-то букашках,— и все это вдруг отдалось во мне страшной обидой. Он говорил, а она смотрела на него, и тут я вспомнил Гену из Валапаевска и как-то горько усмехнулся про себя над Валькой. Они не видели и не чувствовали меня.

Радио час молчало,
Потом донесся сигнал:
— Молчал: оглушило взрывом.
Бейте, как я сказал.
Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!—

все читал и читал Женька. В зале царила взволнованная тишина.

Я смотрю на нее, на ее бледное лицо. «Это тебе не букашки ваши!» — со злорадством невольно думаю я. Тогда я отошел от них в сторону, вспоминая, что ведь и вчера они весь вечер говорили о чем-то своем, и почувствовал одиночество, какого со мной не бывало даже в ночные мои часы. «А вы будете сегодня выступать?» — вдруг услышал я тогда же и снова увидел того первоклашку, который все преследовал меня. Я внимательно посмотрел на него и в первый раз ласково, по-доброму ответил ему:

— Буду...

— Ты слышишь меня, я верю:
Смертью таких не взять.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать...

Вон и Валька. Он тоже волнуется. Но чувство товарищества у меня куда-то улетучилось. Мы волнуемся с ним раздельно, а не вместе, как всегда. Яростная буря аплодисментов. Это закончил читать Женька. Занавес. Аплодисменты не умолкают, Женька во второй раз выходит на сцену и долго, счастливый, не может уйти за кулисы; он как будто купается сейчас в своем успехе.

Наконец на сцену выходим мы. Мягка ритмическая музыка. Первая пирамида. Вторая... Все делаем машинально, перемещаемся, как во сне, одно движение, второе, теперь дело за Валькой... Замерли. Аплодисменты. Делаем заход на новую пирамиду. «Не спеши»,— тихо шепчет кому-то Говоровский. Ему достается, он все время внизу, все время держит, поддерживает, сдерживает, удерживает... Такова участь силача. Четвертая пирамида. Валька ставит руки на колени товарищей, взмах ногой, стойка. Аплодисменты. Пирамида замерла. Вновь расходимся, сходимся, каждый чувствует, что приближается самая ответственная минута. Шестая пирамида проходит отлично. Нам хлопают. Крики «браво». Крики «молодцы». Мы готовимся к последней пирамиде. Ответственный момент. Волнение. «Спокойней»,— шепчет Говоровский.

Четверо, обняв друг друга за плечи, встают в круг, приседают; еще двое, я и Сапегин, забираются им на плечи, сплетают крест-накрест руки и тоже приседают. Теперь Валькина очередь. Он сначала встает на плечи нижних, потом осторожно, спокойно перебирается на наши плечи, удобно расставляет ноги и мягко приседает. Музыка. Нужный такт. Четверо нижних выпрямляются, встают в полный рост.

Напряжение нарастает, в зале тишина. Теперь осторожно, медленно начинаем выпрямляться мы с Сапегиным. Выпрямляемся, чувствуя внизу, за сценой, пропасть. Тишина полная. Музыка прекращается. И в этот момент, взглянув туда, где сидит Саша, но от волнения так и не увидев ее, я вдруг с пронзительной ясностью понимаю, что сейчас Валька встанет на ноги, возвысится над нами, и это будет все, мой конец, мое поражение.

Он медленно, слегка балансируя руками, начинает подниматься. Секунда. Вторая... Черная сила уже толкнула меня, я слегка передергиваю плечом. Валька выпрямляется в полный рост, но нога его медленно скользит по моей шелковой майке... Он старается удержаться, качнулся — в зале тяжелый вздох, еще раз качнулся — в зале вздох ужаса! — и полетел вниз...

В темноте, ослепившей меня, я не видел, как Валька удачно приземлился на мягкий ковер. Буря аплодисментов раздавила меня.

После полудня мы уже в пути. Все то же яркое светило солнце. И так же нарядно сверкал чистый снег. И так же колонна растянулась далеко к горизонту. Но идти было тяжелей.

До привала было далеко, а у меня все больше и больше натиралась мозоль: видно, плохо намотал портянку. Сначала терпел, а потом пришлось потихоньку отставать от ребят. Сержант Пелипенко, замыкающий колонну, без конца подгонял меня. Боль со временем становилась нестерпимой; пот так и катил с меня. Внутри меня росло и быстро разрасталось, как снежный ком, отчаяние и чувство одиночества. Чуть не разрыдавшись, я наконец бросился на снег. Как хорошо лежать, так бы и лежал, лежал...

— Встать!

Я поднял голову.

— Суворовец Ключицкий! Немедленно встать!

— Мозоль, — ответил я.

— Как вы разговариваете?! — Но что-то, видно, переломилось в сержанте, и он сказал: — Ну-ка, снимайте сапог. Живо!

Снимать на холоде не хотелось да и больно было, но я снял. Командир взвода сам перемотал мне портянку (теперь я ему прощаю наряд, который он мне дал тогда за разговоры). Я надел сапог — кажется, лучше.

Километра за два до привала перед глазами у меня поплыли круги. Идти я уже не мог. Я начал потихоньку скулить и хныкать, и это поначалу как-то помогло мне. Потом у меня начался какой-то острый приступ отчаяния, и я с громким плачем бросился на землю. Я рыдал, извивался на снегу, говорил: «Не хочу, не хочу, не хочу!» Я слышал команду «встать», «немедленно встать» и не мог найти в себе силы, чтобы подчиниться сержанту. Я был в отчаянии, и никто не мог понять, что это было за отчаяние и насколько оно было глубоким.

Потом я разобрал, что мне приказывает уже кто-то другой, не сержант Пелипенко, и узнал голос офицера-воспитателя; значит, из головы взводной колонны он пришел специально ко мне. Я встал, взял в руки лыжные палки и сделал шаг вперед. Только теперь я заметил, что весь взвод стоит на месте и все смотрят на меня. Забыв о боли, я сделал второй шаг. Третий...

С каждым шагом привал все ближе. В сапоге у меня кровь, я это чувствую. Лишь бы до привала. Вот и сержант Пелипенко ничего не говорит, когда Валька подъезжает ко мне, снимает с меня вещмешок, скатку и забирает все себе. Мне снова хочется разрыдаться.

На привале Валька приносит мне полный котелок горячих щей. Я ем,

обжигаясь. Рядом сидит Валька и, наверно, совсем не догадывается, что самое трудное для меня — посмотреть ему в глаза. Я знаю, я посмотрю: ведь это не ему совсем писала Саша письма, и не с ним разговаривал Сашин отец о Курильских островах и о военной службе, и не ему он жал руку, как мужчина мужчине.

— Слышь,— говорит мне о чем-то Валька, и я слышу его как сквозь сон... и поднимаю к нему глаза.

*ЕВГЕНИЙ НОСОВ*

## ВАРЬКА

Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых травяных пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась парная, цвелая вода. Комары столбом толклись над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам, темным и худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

— И штоб я в другой раз заместо кого осталась!— кричала она злым, грубым голосом.— И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

— И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не разбирала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом предвечернем небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кисетом.

— А иди ты...— досадовала на него Варька.— Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку — для пробы. «Так — дак так, а не так — дак и ладно»,— приговаривал он, размечая бугор саженкой — откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый, безглавый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз

при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.

— Срамота-то какая! — донимали Парашечкина птичницы, когда тот появлялся на озере. — Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник и вдруг, побагровев, начинал ругаться:

— Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюды двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что кило птицы обернется, дуры!

— Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегаешься.

— Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пискунов, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе, казенные харчи, правда, тоже были подходящие, подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруглять дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще наведывался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающе говорил:

— Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку. Чтоб все по высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо грамот... — он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающе посматривал на птичниц, — так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток распихивали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы. Весной же он одиноко торчал на бугре, со всех сторон облитый полой водой.

Варьку на птичнике называли приблудной. Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утята.

«Ой, да какие же они!» — загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили своего дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпицей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суста-

вов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных, беспомощных пискунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер, Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

— Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на «газике». Но вместо него неожиданно прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Сашка прибился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь — глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носах, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин не отказал и принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей и красным уголком и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогли сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывала на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные, не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеиваясь, кивали:

— Сеять да пахать — не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыклась, привыкли и к ней. Она оказалась неназойливой женщиной, без нарочитой цыганской нахалинки, на свинарнике работала с молчаливым терпением — одним словом, баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное, бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился перед новым законом, не сдал коня государству, а в необдуманной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать волю в Мол-

давию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда ж ей с мальчонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то вдруг, не поделив какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским: Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, коску смыгал!» — выкрикивал из-за плетня какой-нибудь сопливый бесштанный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки девчоночки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пугая друг дружку Сашкиной неверностью, уговаривались «ни за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и не враждебно, но настороженно и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужиков и все дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в вечерке же по причине его неграмотности не нашлось начальных классов. Ради него одного учреждать изначальное обучение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому.

Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего колеса на корточки.

— Девчата, шестимесячный приехал! — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковину. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженых волос, опутывавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесаному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.

— Саш, продай бигуди, — притворно-серьезным тоном сказала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томились знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

— Какие бигуди? — не понял Сашка.

Девчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

— Он их на конюшню отнес, — вставила Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. — Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серо-пыльные ноги.

— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и сразу дурочками становятся.

— Ты и без зелья дурочка, — огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

— Ты чего за спины прячешься?

— Девки, да она краснеть научилась...

— Хорош парень, а?

— Одни глаза чего стоят!

— Берегись, Варька, они глазливые!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

— Отдай накладную,— нахмурился Сашка.

— Погоди! Куда ты спешишь? Побудь с нами.

— Сашенька, сплясал бы, что ли!

— Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудодень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

— Сперва спляши...

— Дай, говорю! Я на работе, поняла?

— Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно и дико озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покатил прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

— Ой!— спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером.— А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть.

Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешнее и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.

— Пойдем, чегой-то скажу.

— Чего еще? Небось подежурить?

— Ага, Варь, золотце, побудь за меня!

— Больно нужно!— Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию, прижала к своему мягкому и теплому бедру.

— Варь, ну ладно тебе... Ты чего, в кино собираешься?

— А хоть бы и в кино.

— Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.

— А тебе больно нужно?

— Сама знаешь... Ну просто аж душа сохнет. Ну хочешь, я тебя поцелую?

Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было чем-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще-сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, и к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.

— Побудь, а, Варь...— вкрадчиво шептала Ленка.— Дай доходить... Теперь уж недолго осталось...

— Да что ты на меня виснешь!— Варька рванулась, но не вырвавшись, задвигала острым и жестким

локтем.— Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу.

— Варь, ты же хорошая, чего же ты орешь дурным голосом?

— Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!

— Тебе уже пора за собой последить. Вон как давеча на тебя Сашка глядел... Парни — они все примечают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты орешь как скаженная...

— Больно нужен мне твой Сашка!— протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность.

Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому, высохшему бугру.

— Вот чумовая!

Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку, и она, подкравшись, виновато сказала:

— Ладно, иди уж...

Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сдавила своими цепкими, удушливыми ручищами.

— Опять тискать!— завопила Варька, задыхаясь в сдобной Ленкиной груди.— Чуть что — прямо на ше-ею. Гляди, промахне-ешь-ся... не на ту повиснешь...

— Ах ты язва сухоребрая!— взвизгнула Ленка.

— Уйди, говорю, а то ушибу!

Варька, вскидывая коленки, начала топать, норовя наступить Ленке на ноги, та неуклюже запрыгала, отдергивая ступни, запнулась о корыто, и они шлепнулись и раскатились, хохоча — Ленка тоненько, молодым барашком, Варька раскатисто и басовито.

Ленка стала собираться. Она стащила старенькую блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней сорочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущаясь Варьки, в сознании собственного превосходства, неспешно оглядела самое себя и, поглаживая нежно-розовые соски, попросила полить умыться. Варька с готовностью подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место, где темный загар от выреза воротника четко переходил в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно придыхала от ледяной ключевой воды, поводила литыми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была приятна эта здоровая и красивая Ленкина нежность, которой она искренне и открыто завидовала.

— Лен, а ты справная!— сказала она и тут же, отвернувшись, трижды поплевала под ноги.

— Тоже... выдумаешь!— передыхая, отозвалась Ленка.

— Ей-богу, Лен!

Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопалась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька неотступно ходила следом.

— Варь, застегни.

И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопко, впервые в жизни застегивала настоящий лифчик, туго перерезавший Ленкину спину узкой белой полоской.

Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов: как Ленка неспешным движением плавных, красивых рук расчесывала влажные после умывания волосы, встряхивала и откидывала распущенную голову, как пришлепывала комочком ваты, будто крестясь — сначала на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе щеки,— душистую пудру, как потом, растерев ее приученными движениями, облизала запорошенные губы, вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как послюнила палец и провела по бровям, словно расправила два птичьих крыла. От всего этого Ленка сразу несказанно похорошела, и

никак нельзя было подумать, что совсем недавно она месила утиные отруби. Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой и что если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумаки сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отиралась бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне, с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.

— А целоваться будешь?— жарким шепотом спросила Варька.

Ленка, сощурясь, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула:

— Ну и дура же ты!

— Нет, Лен, правда?

— Отстань!

Ленка ушла.

Прислонясь щекой к дверной притолоке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошажьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом.

Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо облепившие ее базарно горланящие утиные шеи, поддавая под них ногой, чтобы расчистить корыто, Варька вываливала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились галдеж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, потом гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки, волоча зобы, разбредались от корыт, начиналась чистка перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивалось. Спрятав головы под мышки или зарыв носы в грудастые, распущенные зобы, улегшиеся утки недвижно белели в загоне плотной булыжной мостовой.

Тем временем Варька, перевалившись через край, задрав голые, искусанные комарами ноги, выскребала и споласкивала котел, потом таскала воду, чтобы утром, к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет голодный крик, снова заполнить корыта свежей мешанкой.

После молчаливого ужина за тесовым столиком возле тракторной будки Емельян, неспешно выкурив самокрутку, полез, покряхтывая, в свою каморку, прилаженную сбоку к балагану, такую же безоконную, соломенную, с узким лазом, выстланную сухой осокой.

Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разнаряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому ненужности и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то делать с собой. Солнце уже зашло малиновым шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зарылось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная сумеречная синева. На ближних и дальних старицах лениво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.

Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в трак-

торный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг — и этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон, и разбросанные по нему корыта — начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыденностью.

Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, поворачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру и мазнула ватой по облупленному редисочному носу.

Нос мучнисто-бело проступил на темном остроскулом лице, и тогда Варька, будто испугавшись, стала торопливо заляпывать все остальное. Из квадратика зеркала на нее смотрело безбровое, большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной, тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще, со злобной растяжкой сказало:

— У, зан-н-нуда!

Она выскочила из будки, сбежала к озеру, сдернула через голову сарафан и вышагнула из трусов. Берег был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька голышом, горбясь побежала вдоль берега к круче и с ходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбугрился пенный бурун, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми, ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, трогавших ее живот мягкими, вкрадчивыми лапами, и вынырнула далеко от берега, задохнувшаяся, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла лицо ладонями и поплыла ребячьими размашистыми саженками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись только нос и подбородок да еще два бугорка грудей, то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.

Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине на недвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально-ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные ве-

черним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и всё ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревни, все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины...

И так же нараспев, затяжно выкрикнула:

— Я-я-я-я! Эге-ей!

Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь. Лилии волочились за ней на длинных гибких стеблях, концы которых Варька придерживала зубами. Она любила делать из них мониста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце.

Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Помидоры еще хранили в себе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания, радовалась этому живому теплу, некоторое время держала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом, надавливая большими пальцами на черешковую ямочку, разламывала пополам. Положив половинку в рот, она запрокидывала голову, досылала щепотку соли и, пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, радуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались туманы. Сизое курево проступало откуда-то из низин, слоилось тонкими лоскутами, обозначая все неровности земли, старицы и ложбины. Постепенно туманы перемешались с загустевшей сумеречной синевой, упрятались горбатые спины стогов, темные островки лозняка, далекие деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы, скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и пропал из виду горизонт, снявший с пространства все видимые дневные ограничения, раскованная перед сном, отпущенная на волю земля беспредельно разбегалась во все стороны, таинственно уходила краями в глубину ночи и простиралась перед Варькой в величаво-спокойной тишине и безлюдье.

Варька доела помидоры, легла на живот, подперла голову кулаками. Она лежала просто так, умиротворенно глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простершейся вокруг нее. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они манили ее своей новой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и легким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, ко-

торые, казалось, были протоптаны не просто к балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшемуся счастью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге и держать настороже свое тихое и радостно бодрствующее сердце, учащенное острым ощущением бытия.

Между тем взошла поздняя натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просяном поле глухо заворочался трактор — начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалека на поворотах.

«Сбегать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь.

Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просяное жнивье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахивать просо, и некоторое время шла следом, по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг, заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал, и Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецой, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. Только немногие питали себя подземными ключами. Но Варька еще издали определяла их по лягушачьему кваканью. Низины до краев были заполнены серебристым при лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжущие росою заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли коленками и спеша поскорее выбраться на открытое. А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым страхом удивлялась самой себе, как это она прошла через этот распадок, такой жуткий и затаенно-невидимый под седой гладью тумана. Уже неподалеку от костра в одной из таких низин Варька повстречала лошадей. Они паслись на дне, под туманом. Были слышны только сочное хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой пелены то проступал темный круг, то показывалась поднятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин, и тогда они казались Варьке фантастическими чудищами, что бродили по земле в далекие времена.

У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, что это он распалил кос-

тер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы.

Варька поглядела по сторонам, застясь от света ладошкой. Удивленно хмыкнув безлюдью, она приподняла сарафан, подставила под горячий дым мокрые озябшие коленки. Мерин за ее спиной переступил несколько шагов, потянулся шеей, стал обнюхивать и тыкаться мягкими губами в Варькины лопатки, обдавая теплым травяным дыханием и щекоча шею усатой мордой.

— Отстань, дурак,— незлобно передернулась Варька и, обернувшись, увидела бредущего к костру человека.

Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности.

Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятным ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь, и ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерка, не думала ни о ком и ни о чем и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно-тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки и который Варькина память помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах — припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно.

Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь чернотой обнаженных рук и плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медленно блестел лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыкастые зубы.

Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась.

На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было, и это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку.

Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженый путь к озеру, через отяжелевшие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и он притягивал иззябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела по другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплясавшим пламенем.

— А ты чего тут?

Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь.

Внутренне холодея, ожидая какого-то страшного гипноза от Сашкиных сливово-черных глаз, чувствуя, что деревенеет лицом, Варька, однако, выдержала взгляд. Сашка отвернулся первым, и она сказала как можно небрежнее:

— Костра, что ли, жалко?

Охватив колени руками и чуть откинувшись, она с независимым видом стала следить за искрами, торопливо, в неверном, трепетном лете исчезавшими в темноте.

— Куда идешь?

— Кино смотрела,— соврала Варька.— На птичник иду.

— Тут дороги нету.

— А я напрямки.

Сашка покосился на мокрый подол сарафана.

— Смелая...

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он натолкал в чайник.

— Чай кипятишь?— дружелюбно спросила Варька.

Сашка хмуро усмехнулся:

— Зелье завариваю.

Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а, может быть, заодно и на нее тоже.

Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и не спеша выкладывал их колодцем по бокам чайника. Огонь то вспыхивал, жадно набрасываясь на одеревенелые былки прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила вокруг костра, отступая перед огнем на несколько шагов и снова сужая круг, и тогда Варька спиной чувствовала его влажное прикосновение. Глядя, как Сашка, большеголовый от непроглядной черни спутанных завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой сосредоточенностью возился с чайником, взбудораженная всей этой таинственностью глухого, затерянного места, она и сама была готова поверить, что он на самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдовское. Но она только передернула плечами:

— Так уж и зелье...

— Не веришь?

Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой:

— Дай попробовать.

Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не спеша, с какой-то устрашающей медлительностью нацедил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку в траву рядом с Варькой.

— Дурочкой станешь,— предупредил он, насмешливо блестя глазами.

— Так уж и дурочкой!— передернула плечами Варька.— Держи карман!

Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожко губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий кипяток.

— А, испугалась!— Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.

— И ни чуточки! — сконфузилась Варька.

— Видел, видел! — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.

— Подумаешь! Обыкновенная смородина.— То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку.— Думаешь, не знаю, где рвал? Возле Белых ключей. А я знаю, где ежевика.

— Сам знаю.

— А терн?

— Какой такой терн?— не понял Сашка.

— Синяя ягода. С косточкой.

— Колючий такой? Знаю. Сколько хочешь.

— А свербига где, знаешь?

Сашка замигал мохнатыми ресницами.

— И не знаешь! — обрадовалась Варька.

Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, посматривая на Сашку сквозь душистый парок и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.

Сашка достал кусочек пиленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и половинку положил на траву возле Варьки.

Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за лепешку. Лепешка оказалась свежей, с хрусткой, поджаристой корочкой, и было вкусно запивать ее смородиновым чаем. Ее первая сковывающая робость перед Сашкой прошла, да и сам Сашка больше не смотрел на нее с пугающей, мрачной настороженностью, и ей стало легко и хорошо.

Примечая в Сашке все цыганское — его буйную черноту волос, диковатый, летучий взгляд, гортанную картавость речи, все то, что вызывало у деревенских девчонок непонятную ей самой настороженную неприязнь, — Варька посматривала на Сашку с добрым участием, дивясь его притягивающей необычности. К нему как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворотах штаны, и жарко-красная майка, и этот огонь, игравший на каштаново-черных плечах влажными блуждающими бликами, и даже сама ночь, которую он коротал неспешно и деловито.

— Саш, а ты откуда? — спросила она, думая о том, что где-то он жил и вырос до того, как объявился в деревне.

— Как откуда? — не понял Сашка.

— Ну, где жил раньше?

— А нигде...

— Как это?

— А так... Ездил.

— Ну, а родился-то ты где?

— А не знаю, — сказал Сашка с небрежным безразличием. — Тебе зачем?

— Так просто... Чудно как-то...

Та его жизнь была для Варьки загадочной и непонятной и казалась зря потраченной.

— И в школу не ходил?

— Какая школа? Говорю — ездил...

— А что делал, когда ездил?

— «Что делал, что делал»... Когда дождь — из кибитки смотрел. Когда вечер — у костра сидел. Когда на базар ходил — плясал. — И, усмехнувшись, добавил: — На пузе, на голове...

— Как это? — удивилась Варька. — Покажи.

— Что ты как муха... жж-жж... Чаю — дай, как жил — скажи, плясать — покажи... Музыку надо. Я без музыки не могу.

Варька пошарила позади себя рукой, нащупала узкий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях родился негромкий бархатистый звук. Белый конь приподнял жесткие изогнутые ресницы и сторожко шевельнул ушами. Набрав побольше воздуху и раздув щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, покачиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая ладошки и весело посмеиваясь одними только глазами. Лисохвост пел совсем как дудочка — нежно и чисто.

Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал, губы его непроизвольно раздвигались и раздвигались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка. И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, он подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся ладошками по коленкам.

— Давай.

В следующее мгновение он уже

встрепанным бесом выстукивал пятками, пришлепывая и пришаркивая длинными обтопанными штанинами, бубня себе под нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком.

Варьке было забавно и весело глядеть, как в красных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, колотил себя с неистовой яростью то по выпяченному животу, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся, уткнул голову в траву и, упершись в землю руками, задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих прыжков, Сашка опрокинулся на живот и, изогнувшись рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы. Наконец он подскочил, часто дыша и улыбаясь открытым ртом.

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

— Чего смеешься? — спросил Сашка, сам хохоча и пьяно пошатываясь.— Тут плохо... трава мешает... И давно не плясал... разучился малость.

Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняк.

Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр... Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать. Вот даже ни капельки! И Варька, тихо посмеиваясь, загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян пройдет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь кружево тонких метелок в небо, вдруг проступившее после костра. Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.

Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.

— Не надо,— тихо попросила Варька.— Давай посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.

Они молчали, прислушиваясь друг к другу.

— Это твои лошади в логу? — спросила наконец Варька.

— Мои. А что?

— Просто так... Мало их осталось.

— Четыре пары. И две на конюшне.

— Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?

Сашка захрустел вязанкой.

— Я на трактор уйду,— глухо сказал он.

— На трактор так не возьмут. Надо учиться.

— А сколько надо? — с боязливой надеждой отозвался Сашка.

— Семь классов.

— Семь? Много... А у тебя сколько?

— Девять...

— Девять! — не поверил Сашка.

— Сдам уток — в десятый пойду.

— Зачем тебе столько?

— Не знаю... Буду уток считать,— засмеялась Варька.

— А у меня только два,— не сразу ответил Сашка.— Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил. Про трактор. Когда коней пасу — картинки гляжу. А слова не понимаю.

Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.

— А ты пока сказки читай, стихи,— посоветовала Варька.— Тогда и про тракторы поймешь.

— Я читаю...

Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.

— Вот...

Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название,— одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.

— Эту читать легко.— Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывающими страницы.— Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.

— Александр Пушкин,— поправила Варька.

— Н-нет!— Сашка упрямо тряхнул кудрями.— Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел — цыган.

Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:

— Это тоже Пушкин написал...

И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещих стихов, стала читать «Памятник»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Пушкин — он для всех,— сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.

Сашка молчал, задумавшись.

В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.

— Давай покатаемся,— сказала, радостно замирая.

— Ты что?

— Давай, Саш! Смотри, как хорошо!

Сашка промолчал.

— Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.

— Ты что, дурочка?

— Ничего не понимаешь!

Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе.

— Догоня-я-ай! — донесся ее азартно-радостный голос.

Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор



и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к широкой вольнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов.

Оглянувшись, Варька с жутким замиранием приметила позади себя на залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакав до первых выступивших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлюпала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь, разорвалась на маслено-золотые ломти. Крепко ударил из-под копыт запах застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прянул в сторону. «Не бойся, не бойся,родненький!» — приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и похлопала лошадь по вздрагивающей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.

Едва переведя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, по-щенячьи скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицела, старалась удержать плясавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.

Сашка нагнал ее у самого просяного поля.

Варька услыхала за спиной топот и тяжелый, отрывистый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.

— Ну?.. Ну?.. Догнал? — задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно в горячности обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. — Будешь еще? Будешь?

— Пусти! Сумасшедший!

Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И

вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.

— Да ты... что?! — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.

— А зачем убегала? Зачем? — горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. — Думала, не догоню, да?

Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.

— Потому что цыган, да? — глухо пробормотал Сашка.

— Потому что... дурак!

Не оглядываясь, Варька рысцой побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, студеня росою ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками.

«Чего ж это он? — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. — Чего ж я-то?..»

Она выбежала к просяному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле окоченевшие ступни. На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке из-под горючего, брошенной на закраине поля, и держал в поводу обоих коней — белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.

Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались недвижными и чужими.

Наконец она выбралась из борозды и, набредя на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала неходко, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, зажигаясь горячей радостью бега.

Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загону.

— Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? — ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. — Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?

«Сказать Ленке или не сказать?» — уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прошептала:

— Низачтошеньки!

Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.

### *ВИКТОР ПОТАНИН*

## СОЛОВЬИ

Соловьи рано оживают. Много их весной в Березовке, тихой, просторной деревне. Она стоит у реки, в березах вся, в дикой малине. По берегу бегут избы белым пологим изломом, и кажется, упадут скоро в

воду, утонут. Здесь, у перевоза, живут соловьи. Слушает их по ночам перевозчик Ваня.

В мае река кипит, мост снимают, льдины, как быки, ворочаются, роют берег гладкими веселыми лбами, колются, погибая в воронках. Льдины проходят, и начинает гудеть моторка. На другой берег, пологий, безлесный, она везет трактористов, повариху Нюру с бидонами, Олю Михайлову — книгоношу. Они на пашню торопятся, на сев, а к вечеру — опять к перевозу. Часто и ночи прихватят.

Ночью караулит у воды Ваня Шевалдышев на смоляной плоскодонке. Через месяц он уезжает в Находку. Будет жить там у дяди, работать на консервном заводе, где дядя — начальник смены, может, и на траулер примут, потому смотрит теперь на все прощально, с ухмылкой, думая, что больше сюда не вернется. Еще никому из березовских парней не удалось почему-то отсюда уехать, а он уедет, и оттого ему весело, хоть пой песни.

Ночью у воды холодно, страшно, и Ваня часто курит, кашляет в руку, в теле от дыма теплеет. Думает Ваня, как станет жить в Находке, на берегу океана, где ходят огромные пароходы и гонятся за ними чайки... Но приезжает на велосипеде повариха Нюра. Она толстая, подсадистая, дразнят ее Квашней. Она его не видит.

— Где ты, Ванькя-а? Опять отлегся!..

Он сажает Нюру на корму, сгружает велосипед, бидоны и гребет, презрительно щурясь, пыхая в темноте папиросой.

Лодку сбивает теченьем. Нюра повизгивает от страха, сваливается на бок, шатает лодку.

— Ой, парень, уронишь... Кому говорят — уронишь...

Он гребет сильнее, хохочет. Нюра воет.

— Ойёчиньки, Ванькя-а... Язви его парничка!..

Ваня успокаивает ее, интересуется дочкой:

— А где ваша Оля?

— Газету рисует... Бригадира-то все ж продрали... Ну да... А ты чего?

— Когда, говорю, кончит?

— Ох, Ванькя-а... Я тебя знаю... — Нюра тоже хохочет, снимает с головы платок, и конец его падает в воду, она не замечает. Все смотрит на Ваню, любовно проводит глазами по цепким плечам, по круглой голове и вдруг представляет его в шляпе, и вся трясется, закатывается до слез, не остановиться, а Ваньку все ведет под руку Оля, а на нем — шляпа на голове крутится, и он серьезен, ноздри раздуты. Не проходит долго виденье.

— Ты шляпу хоть раз одевал? Поглядеть бы!..

— На курицу в юбке погляди...— сердится Ваня, а она все хохочет и уже воды не боится, да и берег близко. Уже у берега лезет в карман на кофте, достает горсть жареных семечек, сует Ване:

— На, разглуздайся...

— Язык смозолю.

— Здравствуёшь, зятек... Что губу-то отквасил, ну-ко, ну-ко!

Ваня протягивает вперед ладонь, и она сыплет ему семечки. Лодка о берег стукается, и Нюре совсем весело...

— Хы-ы-ы, река — не река... Айда, зятек!..— Вытягивает из лодки бидоны, они сильно гремят, пугают тишину.

Обратно Ваня гребет сильнее, ему жарко, губам сухо, и на середине он долго пьет, свесившись из лодки. Потом шумно отдувается и гребет к берегу.

Приходят трактористы и Оля. Их перевозить интересно. Олю он оставляет на последний раз, когда уж совсем сходит ночь, и луна напрягается от синего света, и бере-

зы и река светлеют, и вместо воды видится большое белое поле, по которому не плыть бы, а босиком бежать — забежаться. И вдруг открываются соловьи. Они быстро входят в охоту, хоть и далеко до рассвета,— на улице еще народ, хоть у клуба их гармошка перешибает, хоть и мешают они говорить Ване. Но если бы замолчали, было бы хуже, потому что он боится Оли, вдавливает до боли ногти в ладошку, делается для себя злой, незнакомый, и когда садит ее в лодку, то берет за руку и замирает. И уже в лодке все сжимает Олины пальцы, и та чуть не плачет, кусает губы, кричит на Ваню, бьет его сухой крепкой ладошкой, но это в уме только — не в жизни.

— Ты очень устаешь, Ваня? Очень?

— Привыкший.

— А ночью не боишься? Все ж ночью?..

— Светло ведь...

— Светло, аха. И соловьи...

— Какие соловьи. Я вот на восток ездил — там соловьи... А тут — пигалки...

— А ты когда опять едешь?

— Через месяц...

— Подыщешь там какую-нибудь, специальность заведешь — и больше не вспомнишь... До нас ли... Греби-ко давай скорей!..

— Ты не надо. Ты, Оля, не смейся...

— Эх, Ваня... Я напишу тебе? Ладно? Ну, чего ты?.. Ты говори, говори... Чего ты?

Ваня сомлел, потерялся, губы зашевелились, забухало сердце, слились березы в белую мелькающую черту, и закричали соловьи громко, надсадно — и выпали весла. Они заболтались в уключинах, лодка пошла вбок, а весла в воде застревали, булькали, и лодка стала кружиться на месте, потом понесло ее боком.

— Куда мы, Ваня?.. Ты греби, греби. Я не буду... Не буду. Ты говори только. Ты на меня смотри. На меня. Ну, чего ты! Я буду спрашивать, а ты говори, а, Ваня?.. Ты когда поедешь? Неужели через месяц? Ты слышишь?.. А у меня папку зовут тоже Ваней, да ты знаешь... Я с ним везде хожу, он меня зовет Лелей... Ты зови меня так, ладно?.. Хорошо, правда,— Оля — Леля... Ваня? Я дурочка, да, да? Ну, скажи... Я говорю, говорю, а ты... Опять поют...

— Они ненастоящие...

— Ну и пусть... А у тебя как отчество?

— Мартемьянович...

— Ух ты!.. Здравствуйте, Иван Мартемьянович... А у тебя отец двоедан?

— Рядом не стоял...

— Я же так, так... Ты обними меня... Обними... Ну, что ты?.. Ты еще никого не обнимал? Никого?..

У Вани губы спеклись. И он думал — то ли во сне все, то ли не во сне. Река неслась. Соловьи кричали. И ему опять страшно пить захотелось. И когда он наклонился, чтоб напиться, вдруг увидел в воде свое лицо, плечи, они зыбились, дрожали, и снова Ване стало страшно, неспокойно, что все это сон, ненастоящее — и Леля, и соловьи, и река, и березы, и слова Лелины, которых было ждать не дождаться, а сейчас вот они, слушай, лови, милые, нежданные — а лодка уже давно шла сама. До одного берега было близко, к воде кусты спустились, и казалось, что они из воды растут, и она их бережет.

— Ваня? Куда мы плывем?.. А как обратно? Ты почему не гребешь?

— Я не знаю... Пускай, Леля. Пускай...

— Ты еще повтори. Ну, повтори. Повтори. Как ты меня назвал?

— Леля — Леля...

— Ну, хватит, хватит... А то надоест... Тебе надоест, Ваня?

— Что ты, Леля?.. Я тебе тоже буду писать.

— А океан какой?

— Даже не сказать. Вода, вода. Темная, в реке — светлее. А утром — лучше. Солнце из воды встает. Сперва закраина вылезет, потом все, как пятак, и свет от него другой... Как вишенье вода горит.

— Ваня-а, ты б не ездил?

— Кого я здесь выроблю? А там, может, на траулер уйду... По крайней мере — в океане!

— А я как?..— Оля смеялась, уже привыкая, что Ваня ее боится, робеет, а она уже этим гордилась, начиная любить себя за то тайное, счастливое, чего так боялся Ваня.

Лодка пошла тише на повороте. Кончился поворот, и вдруг совсем широкой стала река, и если повдоль смотреть, то она как океан — нет берега, нет конца, и он — белый, глубокий — у Вани закружилась голова, и он стал курить. Соловьи сделались тише, но стало от них грустней, точно пели они где-то взаперти, не пели, а старое вспоминали, переговаривались. И Ване захотелось вдруг новых Лелиных слов, обещаний, потому что уезжал он навсегда к Тихому океану, и жить будет трудно без Лели. А она сидела тихо, только гладила его руку и пугалась его больших сильных пальцев и думала, что у них с Ваней родится дочь когда-то и назовут Лелей по маме, чтоб любил ее отец и берег, а потом они так же возьмут лодку и поедут. И когда так думала, на затылке билась жилка от крови, и становилась вся разбитая, для себя непонятная. Но смотрела на него и опять видела свою дочку, беленькую по Ване, и в глазах все белело, распадалось, и вместо реки она видела большой белый океан.

Река делалась все шире, луна все светлее, соловьи то пели, то замолкали, впереди мелькнули огоньки — новая деревня. Она прошла мимо лодки тихо, бесшумно, не говорили на улицах люди, молчали собаки, и деревня тоже стояла на берегу в березах, и дома тоже чуть не падали в воду, и если б их напугать, то упали б со страху в воду и утонули.

Опять на берегу ожили соловьи. И про них вспомнила Оля.

— Неправда, что ненастоящие... Соловьи и у нас бывают.

— Может, бывают... Ну, пусть бывают.

Ваня обнял Лелю. Соловьи закричали громче. А он думал о Леле, о своей жизни, о своей земле, по которой еще не ходил, не ездил, о своей деревне, где самые хорошие люди на свете — и Леля, и Нюра — Лелина мама, и его папка, думал о реке, о белой ночи, о том, что вот и к нему любовь пришла, а он ее боялся, только об ней думал, только видел во сне, и понял Ваня, что никуда ему не уехать из дому, все равно затоскует. И когда так решил, в душе что-то освободилось, растаяло, дышать стало легче. На воду от луны села мгла, вода покатилась совсем светлая, слышней захлюпали весла, заныли уключины, а он прижимал к себе Олю, и та присмирела, стихла и думала, что плыть бы им так долго, как по Тихому океану, чтоб не приставать к берегу, чтоб никого больше не видеть и ночь бы не кончалась, не заходила луна, не останавливалось течение. Ваня мучился, что она молчит, вздыхает, может, сердится, может, что не так, в груди опять собралась теснота,— и вдруг поднялся во весь рост, она тоже к нему метнулась, он схватил ее за локти, притянул к себе, она вся задрожала, а лодка заколыхалась, бросились от нее в стороны волны.

— Ваня, не уезжай! Зачем тебе этот океан? И здесь — океан. Гляди — воды-то... Сколько воды-то! И ты — как капитан! И все тебя любят. А там? Без тебя людей — тысячи, кораблей всяких — тысячи... Теснота в океане-то...

— Ну ладно... Я и сам решил.

— Сам-сам... Ты все сам с усам.

Ваня сел на скамейку. Оля тоже. Он замолчал, спустил пальцы в воду, им стало щекотно, усмехнулся, вспомнив ее слова — «Ты — как капитан!» — опять промелькнула в памяти вся прошлая поездка в Находку, и то, как первый раз увидел желтую воду океана, как вглядывался в горизонт до рези в глазах, потому что не верилось, что океан у ног, можно его потрогать рукой. А потом за неделю привык к нему, забыл о нем, только когда домой вернулся, часто мерещился ему во сне медленный шум океанской воды, только она была зеленая, под снежной пеной, и корабли плыли такие же снежные, с золотом от солнца на бортах. Потом привык к такому океану — снежно-зеленому, сонному, и сейчас, когда решил к нему не ехать, в душе что-то растаяло дорогое, но на смену пришло новое, счастливое, от которого содрогалось сердце.

— Ваня, Ваня?.. Ты говори, говори... Ну, я не знаю...

Но сама тоже молчала.

Лодка пошла совсем тихо, упало течение, потому что река стала громадной и до берега даже голосом не достать, соловьи замолчали, и понял Ваня, что он любит Лелю, и эту реку, и березы, и всех людей на свете, и будет жить он вечно на этой земле, не погаснет.

— Ваня, а теперь не поют...

— Я слышу...

*ВЛАДИМИР КРУПИН*

# ПЕСОК В КОРАБЕЛЬНЫХ ЧАСАХ

— Ты некрасивая,— сказало зеркало, и она поверила. Поверила зеркалу и разбила его.

Но зеркал много — одно разбила, другое скажет: ты некрасивая.

Мама услышала звон стекла, вошла и спросила:

— Что такое, Таня?

— Оно упало и разбилось,— ответила Таня.— Это к несчастью,— она заплакала и сказала маме:— Мама, я такая некрасивая!

— Ну, кто это тебе сказал, дочка? Ты очень даже ничего.

— Ничего — пустое место. Я дурнушка.

— Таня!

— Что Таня? что Таня?— перебила Таня.— Всем родителям свои дети хороши, а зеркало разбилось к несчастью. Я хотела гадать, я знаю, как гадать,— надо в сумерки зажечь свечку, распустить волосы и долго смотреться, тогда увидишь суженого. Но я увидела только себя, даже противно!

Мама улыбнулась.

— Это не летом, а на старый Новый год раньше гадали. А ты опять выводила веснушки?

— Опять. Но их не вывести, и лицо у меня рябое.

— Перестань,— приказала мама.— Не маленькая разную глупость на себя напускать. Собери осколки.

— Разбитого стекла не склеишь,— ответила Таня.— А если и склеишь, все равно останутся трещины. Тебе что, зеркала жалко? Вот заработаю и куплю тебе трельяж. Сиди и кремься.

— Фу!— сказала мама.— Какое слово — «кремься». И в кого ты уродилась?

— Не в тебя, не в тебя,— успо-

коила Таня,— ни в мать, ни в отца, в прохожего молодца!

— Дочь,— возмутилась мама,— ты хоть понимаешь, что ты мелешь своим языком?

— Мели Емеля — твоя неделя,— отрезала Танька и вылезла в окно.

«Я некрасивая»,— написала Таня щепочкой на песке.

— Шшшутишшь,— сказала волна и смыла надпись.

— Если бы!— ответила Таня волне и села на камень, подобрав ноги, обхватив колени кольцом рук.

До восхода солнца оставалось четыре часа, даже меньше, если ждать его на высоком месте.

Я люблю Таню. Она ходила босиком по свежим половикам. Она не могла управиться со своими рыжими волосами, ни один гребень не брал их, и она хотела отрезать косы.

— Танька!— сказал я.— Не отрезай. Смотри мне! Отрежешь — обижусь.

Я уехал тогда в армию, и много дней прошло, «протекло, как песок в корабельных песочных часах».

Я ли был тогда? Что осталось от меня, того?

Сидит Таня на камне, сидит моя Аленушка, счастье мое рыжекосое.

— Ты трус, и над тобой все смеются,— сказал Сереге вожак ребят Владька,— тебе с девчонками сорняки полоть, а не со скалы прыгать. Сидишь на скале, как дурак, небось боишься?

— А ты прыгнешь?— спросил Серега.

— Надо будет, прыгну,— отвечал Владька.— А вот ты прыгни. Кишка тонка? Ну прыгни, прыгни!

Не прыгнул Серега. Подошел к обрыву и не прыгнул. Ударилась о камень волна, крикнула: «Эх!» — и опала.

«Трус я,— сказал себе Серега и подумал:— Ну и пусть!»

Раз такое дело, раз назвали трусом — соберет он свои вещички и уедет.

Но допоздна пели и танцевали у палаток, и Серега решил подождать. А пока ждал, уезжать передумал.

Ведь никто не знал, что он встречал солнце. Все спали, когда он шел на скалу. Чтоб не подумали чего, брал удочки. Сидел и ждал.

И солнце появлялось. Невидное вначале — светлой, ровной лентой на темном просторе серого Таманского пролива. Потом вспыхивало, резало пролив пополам, и все, что попадало в луч между солнцем и Серегой, теряло очертания.

«Печальный демон, дух изгнанья»,— думал Серега,— черта с два отсюда сигануть: башку сломаешь!»

Таня сидела в ароматной теплоте позднего вечера.

Ей хотелось к палаткам, к шефам из города, но что с такими веснушками идти к чужому веселью?

Все-таки она решила подольше не идти домой: стыдно.

Темнота была прозрачной в ту ночь. Не стало солнца — оказалось, что луна высоко, и луна не успела посветить, как на краю далекого неба появился розовый просвет.

Таня вскочила, ополоснула руки и лицо прохладной, в пузырьках, водой и побежала встречать солнце.

Все в мире говорит о любви. Послушайте, как стрекочут кузнечики в зените дня во ржи, как шуршат сухие колокольчики на влажных полянах.

Послушайте, как кричат ночью друг другу встречные поезда.

Запрокиньте лицо — разве не об этом говорят ночные огни самолетов?

Таня взбежала на скалу и услышала ветер. Внизу, в полумраке медленно плескалась вода.

— Ой,— увидела она Серегу.

Серега встал. Они молчали и смотрели в одну сторону. На горизонт натянуло тучи.

— Вы пришли встречать солнце?— спросила она.— Простите, я не знала, что это ваше место, я уйду.

— Рыбачить я,— ответил Серега.— Не уходите.

— А который час? У вас есть часы?

— Есть,— соврал Серега.— Только они не идут. В палатке.

— А у меня дедушка говорит: часы для красы, а время по солнцу.

Они опять помолчали, не глядя друг на друга.

— Вы сюда приехали помогать?— спросила она.

— Да. А вы здесь живете?

— Да. А я вас не видела.

— Я не на прополке. Мы совхозное овощехранилище ремонтируем.

— А-а. А ваши девчонки некоторые плохо полют: сорвут вершинку, а корень оставят. Что это за работа? Видимость одна. До первого дождя.

— Не умеют они еще. Научатся.

— Долго что-то они учатся.

Она решила уйти.

— Не будет сегодня солнца: тучи. Это я виновата — невезучая. До свидания.

— До свидания,— угрюмо ответил Серега.— А как вас зовут?

— А зачем вам? Таня.

Тут Серега посмотрел на нее и засмеялся:

— Чего тебе солнца ждать — ты сама как солнце.

Она отвернулась.

— Ты что, обиделась? Подумаешь! У нас одна лицо платком закутывает, боится загореть, думаешь, лучше?

— Не знаю.

Таня подошла к обрыву, заглянула вниз:

— Глубоко. Тут Лермонтов чуть не утонул.

— Ну да?

— Вот и ну да! Читал «Тамань»?

— Нашла чему верить — книжкам.

— Но я же знаю.

— Докажи.

— Докажу.

— Чем докажешь?

— Чем надо, тем и докажу.

Вода внизу под обрывом вздымалась и опадала.

— Я раз после шторма здесь кувшин чуть не целый нашла,— сообщила Таня,— гляжу — на ручке отпечаток большого пальца, представляешь? До нашей эры! Ты почему не удивился?

— Ну и что, что отпечаток.

— Нет же одинаковых отпечатков. Если бы он был жив, его можно было найти.

— И посадить?

Она пожала плечами, отошла и вдруг спросила:

— А отсюда прыгнешь?

— Раз плюнуть,— ответил Серега.— Мокнуть неохота.

— Правда?— спросила она.— Надо же! А я трусиха. И правда прыгнешь?

Надо верить!

Один человек рисовал деревья. «Разве бывают синие деревья?» — спросили его. «Бывают».— «Где?» — «Вот,— ответил он,— нарисовал же я. Пожалуйста».

...и через секунду после этого Таня ухватила Сергея за руку:

— Ты что? Уж совсем?— и покрутила пальцем у виска.

— Пусти,— ответил он.— Не веришь? Пусти, говорю. Думаешь, не смогу?

— Ничего я не думаю. Не пущу.

Отойди от обрыва. Подумаешь, нашелся. Ты что, ненормальный? У нас ребята на море выросли, и то боятся.

И тогда он прыгнул.

Хорошо, если бы в эту минуту солнце разорвало тучи.

Но нет, не появилось солнце.

— Ну и что? — спросил он, дрожа от пережитого страха и холода.

— Доказал! А если б разбился?

— Подумаешь!

— Трясет всего. Простынешь ведь, дурачок. Выжми рубашку. Выжми, говорю! Ну сними, я выжму.

— Сам. Отвернись.

Он выкрутил рубашку. Она, не оглядываясь, посоветовала:

— И брюки выжми.

— Больно надо.

— Выжми. Что тебе, долго? Ведь заболеешь. Ну кто тебя увидит, я отвернулась.

— Не буду.

— О, боже мой! Ну и не выжимай.

Они прошли немного босыми ногами по берегу до пологой тропинки и поднялись.

— Беги, переоденься, — сказала она. — И я пойду. Мама не спит, это уж точно.

— Таня, — сказал он, — а меня Сергеем зовут.

— Тебя «Сергей-муравей» в детсаде дразнили?

— Дразнили.

— А меня «Таня-матаня».

— Таня, — сказал он, — а ты куда ходишь на пляж?

— Со мной неинтересно купаться, не ныряю, любой брызги боюсь.

— А почему?

— После морской воды волосы не расчесать. Только колодезной отмываю. Больше ничем не берет. Шампунь «Садко» для морской воды продают, с ним и то никак. Отрежу! Чик, и все!

— И что хорошего? Вон у нас у всех девчонок волосы короткие.

— Тебе не нравится?

— Что не нравится?

— Что короткие?

— Длинные лучше.

— Ты с ними не маешься, так не знаешь. А с короткими что за беда — проснулась, встряхнула головой — и ать-два! А тут сидишь, гребнем дерешь-дерешь!

— Не отрезай, Тань.

— А тебе-то что? — спросила Таня.

— Тебе так лучше, — сказал Серега, запнулся и покраснел, и Таня покраснела тоже. — Мы вечером уезжаем, — угрюмо добавил Серега.

Таня молчала.

— Ты днем чего делаешь?

— Ничего, — тихо ответила Таня.

— Приходи после обеда, — попросил Сергей.

Таня мчалась к дому. Было так светло, что ей казалось непонятным, почему пусто на улицах поселка. Она забыла, что и сама в это время всегда спала. Начинали краснеть яблоки. Таня подпрыгнула, хотела сорвать одно, но не достала.

— Мамочка, милая, родненькая мамусенька, ты не спишь? — закричала она, влетая в двери.

— Не любишь ты меня, Татьяна, — грустно сказала мама.

— Люблю! Люблю! Люблю! — отрапортовала Таня.

— Совсем не жалеешь!

— Жалею, жалею, жалею!

— Где ты была?

— У моря, у моря, у моря!

— Пять лет жизни ты мне убавила за одну ночь.

— Прибавлю десять! — пообещала Таня.

Она подскочила к гардеробу, отвела скрипнувшую дверцу и повертелась перед зеркалом.

— Мамочка, у меня стреловид-

ные брови, миндалевидные глаза, пурпурные губы и... нежные мочки ушей. И вообще безукоризненный цвет лица.

— Выпороть бы тебя,— сказала мама.

— Пожалуйста,— разрешила Таня.— Нет, не выпорешь! Нетушки. Я взрослая и красивая, и никаких гвоздей.

— Кто это тебе сказал?

— Мальчишка один.

— Кто?— Мама встала.

— Мальчишка один,— повторила Таня.— Юноша. Он говорит: я люблю вас, а я говорю: не верю. Прыгни, говорю, с обрыва. Мамочка! Там дна не видно. Прыгните, говорю, молодой человек, я подумаю. Он страшно побледнел, волосы дыбом... И прыгнул! Полчаса летел. Я хоть бы что. Ты слушаешь?

Мама слушала.

— Он выплыл, заявляет: я вас хочу поцеловать. А я говорю: только без рук, только без рук... Ты что, мам, ты что?

Дверь за мамой захлопнулась, ключ повернулся.

Чуть ли не до обеда Таня делала разные прически, надевала мамины платья, показывала запертой двери язык. Потом устала, забралась с ногами на диван и уснула.

Я прыгнул тогда с обрыва. Спасибо, Таня. Я помирился с Владькой. Да и слишком глупые ссоры мальчишек, чтоб их долго помнить.

Мы подошли к обрыву.

— Ну,— сказал я Владьке.— Давай! Не бойся, там глубоко, я мерил.

— Отсюда прыгал?

Владька раздевался. Он боялся быть трусом.

— Матери сообщите,— сказал он.

— Сообщим.

— Мол, при исполнении служебных обязанностей и так далее.

— Валяй, валяй,— жестоко сказал я.

— Родина меня не забудет!— воскликнул он.

— Сам напомнишь,— ответил я.

Много дней прошло, «протекло, как песок в корабельных песочных часах».

Прощай, рыжекосое счастье мое, Танька, прощай.

Мы больше не виделись с ней.

Я учился, служил в армии, снова учился, женился...

— Танька,— спросил я во сне,— Танька, ты отрезала косы?

Но я не видел ее даже во сне.

Танька, ты отрезала косы?!

Какая разница: да или нет? Все проходит.

Только на том самом обрыве, выше полета чаек, встречаются мальчишка и девчонка. И становятся:

она — красивой,

он — смелым.

*ЮРИЙ КАЗАКОВ*

## ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

### 1

— Лиля,— говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю. Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно назвать свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танце-

вать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки.

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим посреди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о кибернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лиля странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивет мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

## 2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лиля, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос.

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лиля.

Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором.

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лиля. Брови ее сходятся и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудно́е платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистичес-



кая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, оттуда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лиля. Это замечательная книга, я читаю ее и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадается длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том Энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

## 3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, — мне купили его, когда я окончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее

небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удается услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют,— и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки.— Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит ко-

роткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватает мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигаешь куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильней блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

## 4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня

сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу я в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Треьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки

папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я.— Я очень скоро.

— Хорошо,— соглашается она.— Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я ухожу, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и напиться чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласился бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать?

Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, ослабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась.

Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу

горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слыхали никакого шума.

— Ну вот...— говорит Лиля и крепче прижимается ко мне.— Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я вглядываюсь, считаю: шесть человек. Нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала,— печально говорит Лиля.— Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользнув по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего,— сожалеюще замечает кто-то сзади.— Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да?— спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня?— Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги.— А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша...— зовет меня Лиля. У нее странный голос.

Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша,— просит Лиля.— Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздается вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее делаются совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня?— слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые.

Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрей, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее. Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со своей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном не-

повторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя. Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впору тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уж весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Кругом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо посередине идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша,— говорит Лиля. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем малень-

кое.— Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя?— спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. А, ты про вчерашнее?— Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня.— Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада.

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну мы пойдем. До свидания!— говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах, да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего,— отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать!— говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй.— Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами,— совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят

дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

6

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдаю экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту,— говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва,— говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала.— Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо,— отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой?— спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лиля смеется.

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом, я немного устал, у меня ведь экзамены. Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лиля уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное

слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно увидеть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лилиного лица нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

## 7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать

лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошеные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, господи, как я не хочу снов!

*ВАСИЛИЙ БЕЛОВ*

## ЛЮБА-ЛЮБУШКА

### 1

Даже после захода солнца, когда идешь домой по ночному присмиревшему полю, даже в эту пору снуют над головой и плачут боязливые чибисы. В полевых ложбинах заметно копится туман, все поле звенит кузнечиками, словно сама трава остекленела и звенит без ветра, и хорошо идти домой мимо этих ложбинок и звенящих луговин, хорошо ступать по мягкой дерновой дороге.

О чем так печально кричат чибисы? Они ничегошеньки не понимают, эти полевые птицы с хохолками на головах, они все кричат и летают над тобой и думают, что уводят тебя все дальше от своих гнезд. Но разве страшны для них пропахшие солнцем и высыхающей травой девичьи руки?

В доме светло, будто ночь еще не пришла, а только дохнула легонько из-за рощи. Под лавками и за печкой словно кто-то притих, а на столе таинственно и музыкально-тоненько поет самовар. Чего только не слышится в этом напеве! Присядь на лавку за стол, прислушайся, и твою душу ознобит на секунду холодный посвист январской вьюги, потом самовар тихонько прозвенит свадебным колокольчиком, потом затихнет и вдруг точно запоет песню неведомого бабьего хора, не спетую еще песню и самую первую песню, которую ни за что не запомнить, так она хороша и так неуловима в этих сумерках.

Со двора приходит с подойником в руке мать. Она в сенях, за открытыми дверями разливает молоко, и слышно, как оно домовито журчит, и кот тяжело спрыгивает на пол, бежит, несмотря на старость, канючит, просит теплого молока. Поет самовар. Не допита чашка чая, босые ноги бесшумно ступают по мягким половикам.

— Мама! Ну что мне с тобой делать? Говорила ведь, чтобы до меня не обряжалась. Я бы сама подоила...

— Ой-ей-ей! — словно не слыша упрека дочери, притворно-плачущим голосом говорит мать. — С горушкой налила молока-то. Иди, прохвост, лакай.

Кот пристроился к молочной лужице. Мать запирает ворота, моет подойник оставшимся в самоваре кипятком, ошпаривает вытащенную из рыльца подойника вересковую веточку.

— Люба, а Любушка? Шла бы, милая, спать, время-то вон уже сколько накачало.

В окошко сенника, затянутое марлей, просочился комар. Он летает где-то в темноте, его жалобный звон то приближается, то удаляется, и под этот звон подступает к изголовью усталая ласка сна. Люба засыпает с улыбкой. Последние впечатления яви перешли в сон, и дождевые капли упали на крышу

одна за другой и оборвались, словно многоточие на странице хорошей книжки.

Под утро над полями и рощей угасли последние вспышки зарниц. Спят деревни, спит холодная дымящаяся речка. Далеко в лесу призывно заржала лошадь, потерявшая из виду жеребенка, сонно пробарабанил в ответ ночной пастух. Тихо в деревне, но тишина не живет в девичьем сне. Снится Любе большой многолюдный праздник, где переливается множество девичьих лент, откуда-то издалека летит непонятная волнующая музыка, мелькают незнакомые и как будто знакомые лица, и будто бы Люба вглядывается в эти лица, ищет и ждет кого-то, но никак не может найти и дождаться. Она бежит на непонятную музыку, ей не хватает сил, она все глядит в толпу, сердце у нее словно остановилось, вот уже близко, сейчас она увидит кого-то, и все будет хорошо, все плывет перед глазами, вот что-то мелькнуло. Ой, только скорее бы, ей жарко, она задыхается и вдруг просыпается от сладкой тревожной боли, с минуту лежит, не двигаясь, словно задерживая счастливый, но исчезающий сон.

Она сдернула марлю с окошечка, и в сенник ударил широкий сноп света раннего утра. Сон прошел, но ощущение сна осталось, и все так же тревожно и сладко таится что-то в груди. Что ей снилось? Праздник? Много народу? Нет, это не то, было что-то другое.

Она торопилась куда-то, хотела что-то увидеть, что-то мелькнуло, потом все исчезло. Но что она хотела увидеть и кто мелькнул? Нет, лучше не думать, и она, одеваясь, старается думать о другом, но волнение и радость, испытанные и пережитые во сне, остались и перенеслись в будничную явь.

* * *

Далеко во все стороны раздвинулось и дрожит от жары небо. Мглистая синева, лиловая по бокам облаков, заслонила полсвета, и солнце плавает в ней с утра до вечера, а ветер вздыхает на зеленой земле. Пошевелит траву, поканителит голубую воду в реке, потом вдруг бережно опахнет лицо прохладным неуловимым касанием.

Давно уже, нелепо задрав на спину свои хвосты, прибежали в деревню коровы, стоят в холодке большого старого хлева, а вокруг хлева, на жаре, летают оводы.

По деревне бродят за петухом курицы либо лежат в горячей, как зола, дорожной пыли. А петуху жарко и даже лень орать. Пахнут теплом хлебные клоны у дороги. Осока у моста притихла, когда фура с навеянной рожью простучала по настилу и остановилась.

Люба подвязала вожжи к тележному передку, поглядела из-под руки на солнце. Потом она спрыгнула с фуры и на минутку сбежала к воде. Тут, у самого моста, река раздваивалась, и край тростникового острова прятался под самым мостом.

— Ой, как пить хочу, умираю! — Агнеюшка тоже сбежала к реке, скинула башмаки, не стыдясь, заголила белоснежные ноги.

Подружки побрызгались немного и присели на большой камень под мостом.

— Жарко, Агнеюшка...

Люба, нежась, прислонилась щекой к Агнейкиной.

— Знала бы ты, какой сон мне ночью сегодняшнею приходил...

— Опять, наверное, города всякие. Ой, Люба, и чего ты все задумываешься?

— Я и не задумываюсь...

— Нет, задумываешься. Чуть немножко, так и задумываешься.

А я вот не задумываюсь, а возьму да наревлюсь досыта, и все. Опять потом хохочу целую неделю.— Агнейка болтанула ногой в воде, напевая другим голосом:

Это, девушки, не озеро,
Не озеро — река.
Это, девушки, не парень —
Половина дурака.

И выбежала на травяной берег, буравя коленями прозрачную воду.

— Люба, гляди-ко, ухажер-то наш идет, вырядился, как на смотрины.

С того конца моста вышагивал в ботинках и клетчатой рубахе Африха. Он плюнул через перила, поздоровался за руку с Агнейкой и Любой, переступая с ноги на ногу.

— Чего, фуру возите?— спросил он.

— Фуру,— сказала Агнейка.— Ты разгуливаешь, а мы за тебя возим. Чего вырядился-то?

— В сельсовет ходил насчет справки.

— Я думала, ты расписываться ходил.

— Агнейка! Намну дуру!

— Думала, вот напляшемся с Любкой на Афришкиной свадьбе.

— Намну!

— Думала...

Африха кинулся к Агнейке, обхватил ее за поясницу. Агнейка завизжала, но не успела опомниться, как была уже на траве, и Африха деловито комкал ее и жамкал, потом, довольный, отступился.

Раскрасневшаяся Агнейка запыхалась, но как ни в чем не бывало тут же спрыгнула на ноги. Лицо ее разрумянилось еще больше.

— Думала...

Африха сделал движение в ее сторону, и Агнейка опрометью бросилась прочь от него, потом опять подошла близко.

— Любка, хоть бы ты заступилась.

Африха покосился на Любку, закурил.

— Да, чуть не забыл. Вам с Агнейкой липинские девки записку со мной послали. Зовут сегодня на гулянку. Меня звали, да я сказал, если наши девки пойдут, так и я пойду. Сходим, что ли?

— Люб, пойдем, а?— подскочила Агнейка.— Давно уже в Липине я не бывала. Может, и заболотские придут.

— Это точно,— поддержал ее Африха,— заболотские со своей гармонией обещались.

— А что заболотские-то?— Люба обернулась к Африхе.— Я ни липинских, ни заболотских не видывала. А матюкальных частушек так и дома наслушаемся.

— Нате записку-то,— сказал Африха,— вы как хотите, а я пойду и один. Заходите, ежели надумаете.

И Африха пошел к деревне понад канавой, тропинкой, обросшей подорожником. Люба развернула записку. На листке из школьной в клеточку тетради было написано приглашение приходить к таким-то часам в Липино, к такому-то дому.

— Сходим, Агнеюшка?

Агнейка запрыгнула на телегу, отвязала вожжи, протараторила:

— Любушка, можно мне вечером твои белые босоножки обуть?

## 2

Лесными теплыми покосами, через песчаные ручьи и брусничные горушки, то раздвигаясь, то вновь сливаясь, льнет к земле липинская дорога. Раза два за лето проедет кто-нибудь по ней на двухколесной телеге, спугнет тяжелых на подъем глухарей, и вновь явственно обозначатся две колеи и тропа посередине.

Что для молодых ног восемь веселых километров?

Босиком, с завернутыми в газету босоножками бежит впереди всех

крепконогая Агнейка, шлепает комаров и нагибается иногда, чтобы обруснуть красную капельку земляники. На Агнейке черная новомодная юбка и красная кофточка, жакетку она погрузила на Африху. Африха где-то отстал, чтобы вырезать ивовый батожок, а может, еще по какому делу.

За лесом уже садится солнце. Пахнуло сухим сеном, потом разогретым за день малинником, потом смолистой еловой поленницей.

Люба чуть подобрала свою тоже черную юбку, когда переходила усохший ручей. Комары так и налетали. Выдумщица Агнейка, передразнивая Африху, запела ребячьи частушки:

Запевай, товарищ, песенку
Веселым голоском,
Чтобы слышали сударушки
За темным за леском.

Голос у Агнейки приятный, особенно в лесу, когда песня отдается в сухом сосняке.

Мы с товарищем ходили
За реку по мостику,
Двух девчонок завлекали
Небольшого ростику.

Солнышко совсем спряталось, трава чуть отмякла, и комары налетели еще гуще.

— Ой, всю искусали,— допела частушку Агнейка и — снова ребячьим голосом:

Все курил, курил махорочку,
Тепере папирос,
У милахи носу не было,
Севогоду прирос.

Позади, за поворотом откликнулся Африха:

— Девки! Тут напрямую можно, ближе намного!

Сшибая на ходу шляпы маслят, он догнал девушек, подал Агнейке жакетку.

Свернули на прямую тропу, которую знал Африха. Он шел, дымя папиросой, махая красивым ивовым батожком. Вокруг батожка вилась белая полоса вырезанной коры. Африху вроде и комары не кусали.

Тропа вывела на скошенное стожье. Посередине стожья стоял набитый сеном сеновал. За ручьем была поскотина, дальше белел туман большого липинского поля. Когда вышли к реке, Африха прислушался. Со стороны деревни никаких звуков не слышно было. Люба спустилась к воде, чтобы помыть ноги.

— Стыд-то какой. Всех раньше пришли,— проговорила она, но в деревне вдруг сначала тихо, потом громче взыграла гармонь.

Агнейка так вся и переменилась.

— Африш, ну-ка отвернись, да смотри не оглядывайся.

— Подумаешь, прынцесса,— Африха сел на луг, равнодушно отвернулся, закурил, пока Агнейка и Люба надевали чулки.

Туманом густо заволакивало реку, кричал дергач. Гармонь в Липине вдруг затихла. Но Люба знала, что затихла она ненадолго, был как раз тот момент, когда в деревне из дома в дом перебегали девушки, а ребята всем гуртом сидели у кого-нибудь в избе. Пройдет минут пять, и мальчишки, играющие на улице «в муху», остановят игру и замрут, завистливо глядя на старших.

* * *

Улица словно расцвела, от посада до посада. В ночных сумерках зачернели ребячьи фигуры, и гармонист играл так хорошо, что у Любы вдруг дрогнуло что-то в груди. У Агнейки тоже. Из поля, с другого конца деревни, шли заболотские. Они сначала прошли по всей деревне. Липинские ребята почтительно уступили им улицу. Заболотские

вернулись на середину, остановились у большого опушенного дома. Пока ребята здоровались, девушки охорашивались в сторонке под черемухами.

В большом ребячьем кругу сгрудилось много людей, и Люба с Агнейкой подошли туда. Гармонист был тот же самый, он торопливо загасил о каблук папиросу и надел на плечо ремень. Плясать пошли двое заболотских ребят, а в это время в другом кругу плясали липинские девчата под игру своего гармониста; Африха подался к тому кругу, а Люба с Агнейкой остались. Люба закрыла глаза на секунду. Гармонь часто вздыхала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах, говор людей сливался в один постоянный звук, было тепло и тревожно, как в минувшем сне. Она открыла глаза и вдруг замерла от волнения: прямо на нее обернулось темнобровое лицо незнакомого невысокого парня. Он стоял рядом. Отвернулся почти сразу. Люба тоже отвернулась, но вновь тут же ощутила его взгляд, почувствовала, что быстро краснеет, и затеребила платок, не слыша Агнейкиных слов.

— Люба, пойдем плясать, слышь,— торопила ее Агнейка.— Что мы, хуже других, пойдем, и все.

Агнейка протолкалась к самому гармонисту, он заиграл потише и на Агнейкин шепот ответил согласным кивком. Но Люба ничего этого не видела и не слышала. Она была словно и не она, как будто было две Любы: одна тут, а другая где-то. Она не смела взглянуть на соседа, а он все стоял рядом.

На круг вышла Агнейка. Все сразу обернулись на нее, статную, живую. Гармонист тут же сменил игру. Агнейка приостановилась и щемящим чистым голосом пропела частушку:

Ой ты, веночка усталая,
Играй тихонечко,
Голосок не позволяет
Песни петь нисколечко.

Круг сразу стал уже от того, что задние хотели посмотреть, все сгрудились теперь около этого круга. Агнейка приостановилась напротив Любы и снова пропела:

Девушки, зима не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не наша воля,
Не полюбишь кого хошь.

Плясала Агнейка всегда хорошо, особенно под настоящую игру. Люба чуть осмелела, хотя по-прежнему что-то сладкое и тревожное румянило щеки. Она подумала, что будь что будет, но Агнейку нельзя подводить, придется выходить на круг.

Запевай, подруга, песни,
Нам никто не запоет,
Невеселое-то времечко.
Не скоро, да пройдет.

Выходи, подруга Люба,
На половочку ко мне.
Мы с тобою сиротиночки,
Гуляем-то одне,—

пропела Агнейка и встала на Любино место. Люба вышла на круг. Никогда еще не плясала она при таком народе, никогда ей так легко не дробилось и никогда так не навертывались в ее памяти самые хорошие частушки. Она плясала и видела, как смотрит на нее широкоплечий красивый парень, видела, как он закуривал с Африхой.

Люба прошла последний кружок и вышла с Агнейкой из толпы.

Они тихо пошли по улице. По-прежнему играли две гармошки. Вся деревня притихла, только у двух больших домов было людно, начиналась уже роса. Пропел чей-то петух, заскрипели чьи-то ворота. Люба не слышала, что говорила Агнейка, ей хотелось то ли поплакать, то ли запеть, то ли птицей

взлететь с пригорка над белым туманом.

Поет, и жалуется, и смеется веселая заболотская гармонь, кричат бессонные мальчишки, одна за другой рождаются и умирают в хороводе частушки.

Ой, какая хорошая деревня Липино! А где же это таинственное Заболотье? Это где-то километров за восемь отсюда, еще дальше, и Люба никогда еще там не бывала.

Далеко за полночь гулянье понемногу пошло на убыль, поредел круг, затихла одна гармошка, и Африха подошел к Агнейке, предложил идти домой. Никому бы на свете не сказала Люба о том, как ей хотелось спросить у Афришки, с кем это он закуривал.

А Агнейка, как назло, всю дорогу говорила про заболотских.

3

Восход за восходом покатилось к осени Любино лето. Отцвела и увяла земляника, прошли сенокос и уборка, закраснела уже и рябина под окнами, а мир все так же, как и в ту липинскую ночь, был полон глубокой сладкой тоски.

Люба все время думала о темнобровом сероглазом заболотском парне. По многу раз на день она глядела в липинскую сторону. Там, где терялась в лесу липинская дорога, стояли два стога и темнела большая островерхая елка. Прежде чем посмотреть на эти стога и елку, Люба оглядывала другие места зубчатого лесного кольца. Оно было однообразным, тянулось далеко и одинаково, пока взгляд не встречался с теми стогами. Тогда Любу снова охватывало щемящее волненье.

Вскоре пошли дожди, и стоги из темно-зеленых превратились в желто-серые, зато ель еще яснее стала выделяться своим сизо-зеленым конусом.

Волнение охватывало Любу и в то время, когда кто-нибудь при ней упоминал в разговоре Липино и Заболотье, но особенно нетерпеливо билось сердце при виде всего того, во что была одета Люба в тот вечер. Черная юбка и крепдешиновая кофточка лежали в комоде, и Люба часто без нужды вынимала и гладила их. Ходить в них было некуда.

В Липине больше гуляний не собиралось, а в Заболотье не ходили даже ребята. На своих же гуляньях Любе было и раньше не больно весело, а теперь и вовсе стало скучно.

Зато Агнейка бегала каждую субботу, Африха «рекрутился», собирался на службу. Оба они давно забыли про липинскую гулянку. Но даже глуповатый Афришка казался Любе при встречах милым и хорошим, вызывая в сердце то же щемящее волнение, особенно когда закуривал. Ведь они вместе с заболотским прикуривали тогда от одной спички! И, конечно, они знали друг друга.

Однажды Люба проснулась под утро от радостной горечи хорошего сна. Ей вновь снился тот большой праздник, вновь играла и звала к себе непонятная волнующая музыка, и Люба шла среди большой толпы навстречу серым заболотским глазам, шла, не стыдясь, она видела, знала, что это он, и вдруг проснулась и через минуту беззвучно заплакала. Это было через три месяца после липинского гулянья, когда речка от дождей стала по-весеннему полноводна, по-весеннему же, хотя и не очень рьяно, токовали полевики, и дым из труб шарахался на росу и на грядки.

Была та пора, когда по оголенным лесам свистят рябчики, замирают в еловых лапах сонные вздохи ветра, тихая мгла белеет на всех горизонтах и начинается царственный отдых осенней земли.



* * *

Бригадир еще со вчерашнего вечера направил Любу с Агнейкой копать картошку. К резиновым ботам и к лопатам налипала грязь, пальцы сводило от мокрой стужи. Агнейка, с выбившейся из-под платка косой, сильно вдавливала лопату в землю и выворачивала картофельный куст. Клубни были мелкие, с ржавыми пятнами картофельной коросты. Люба кидала их в корзину и часто разгибала спину. К обеду едва накопали около трех кулевых мешков.

Агнейка присела отдохнуть на мешке.

— Опять Афришки долго нет.

Люба взглянула на подружку.

— А что он тебе, Афришка-то?

— Да так. Он картошку должен возить...

— А вон он идет. На помине, как сноп на овине. Опять куда-то ходил.

Из-за гумна и в самом деле вышел Африха, шелестя дождевиком, сел рядом с Агнейкой.

— Все, девки,— сказал он весело,— забрили, двадцатого в отправку.

Агнейка сначала не поверила, сказала «не мели», потом замолчала, глядя на Афришку уже другими глазами.

— Правда, Африш?

— Ну что я вам, врать буду? Вместе с Костюхой из Заболотья в сельсовет вызывали.

У Любы покраснели щеки и часто заколотилось сердце.

— Из Заболотья?— тихо спросила она.— Какой это из Заболотья?

— Да помнишь, небольшой такой, в Липине еще мы вместе стояли. Мы с ним с одного года. Вместе будем отправляться. Ко мне придет он на отвальную...

— Люб, ты чего, Люб?— Агнейка кинулась к Любе.

...Ничего не видя и не слыша, Люба напрямую без тропинки пошла к деревне. Еще больше все в ней перемешалось, когда она взглянула на приколотый у зеркала численник: на листочке была цифра семнадцать.

* * *

Все эти три дня слились для нее во что-то одно, короткое и счастливое, тревожное и радостное. Каждый день приходила Агнейка. Она перебирала Любины платья и, давно обо всем догадавшись, сообщала новости: Африхина мать заварила пиво и вымыла пол, сам он зарезал к двадцатому ярушку, и на отвальную вместе с Костей придут еще двое липинских.

Накануне Люба почти всю ночь не смыкала глаз.

С утра мать ушла на болото за клюквой, и Люба весь день была одна, потом прибежала Агнейка. Она мигом нащепала лучинок, развела духовой утюг.

— Ой, Люба, куда-то у меня голубая лента девалась, весь день ищу, ищу, не пила не ела, а толку нет.

— Да вот же, у меня она, голубая.

Агнейка прискочила от радости и быстро поцеловала Любину щеку. Люба, опустив большие ресницы, медленно заплетала косу. Агнейка подошла к ней, нежно обхватила ее плечи своими белыми от локтей до плеч руками, прошептала на самое ухо:

— Ой, Любушка... Афришка говорит, чтобы я села за столом рядом с ним. А я говорю, если Люба будет с другой стороны, так сяду, а то ни за что не осмелиться... Ну-ко, вся родня будет глядеть. А ну, подумаешь, пусть глядят! Смотри, кто-то идет из отвода.

Агнейка кинулась к окну.

— К Афришке идет. Люба! Смотри!

Но Люба в это время вдруг закрыла лицо руками и встала у шкафа, отвернувшись, как неживая. Она еще раньше Агнейки увидела его. Большим, еще не изведанным счастьем, как горячим летним ветром, опахнуло ее всю до последней кровинки.

* * *

В большой Африхиной летней половине уже собиралась молодежь, когда в зимней половине усаживалась за стол родня и призывники, которые вместе с Африхой уходили в армию. Налили по стопке, но все сидели, пока Африха бегал за Агнейкой и Любой. Он, в новом костюме, уже остриженный и непохожий на себя, вбежал в дверь к Любе:

— Ну чего вы прохлаждаетесь? Одних вас и нету. Люб, дай-ко тарелок и ложек, у нас недостает.

Агнейка завернула тарелки и ложки в полотенце, и все трое вышли из дома. Поднимаясь по ступенькам Африхиного крылечка, Люба услышала застольный говор, услышала гармонь, что играла в летней половине.

— Во, во! Славутницы наши, честь и место! — радостно зашумел из-за стола Африхин отец.

Люба, ничего не помня, села за стол. Пока все чокались и шумно переговаривались, она один раз взглянула на Костю, он тоже в это время смотрел на нее, улыбнулся. Люба покраснела, поставила рюмку с красным вином на стол и вся затаилась от счастья, от большой своей радости и волнения.

В Красну Армию, ребятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока,—

пел Африха, останавливаясь по середине летней избы, и гармонист вновь широко раздвигал мехи гармони, и вновь шел Африха по полу, останавливаясь и чуть притопывая, снова пел:

Не обидно ли тому,
У кого пляшу в дому.
Дрыгай, пол и потолок,
Пляшу последний вечерок.

Переплясал Африха уже со всеми: с отцом, с Агнейкой, с липинскими ребятами. Только Костя не выходил на круг. Он стоял у косяка, стыдясь остриженных волос.

Народу набралось много. Сквозь звуки гармони и частушки слышались разговоры и смех, и все это сливалось в один праздничный гул, и кто-то в этом гуле уже заводил столбушку, потом другую.

В кути, за печью, за переборкой в темноте поставлены были скамейки и табуретки, занавешенные одеялами. Люба видела, как Африха с Агнейкой завели еще одну столбушку, в самом темном и тихом месте. Они пошушукались для виду, и вскоре Африха вышел на свет, подошел к Косте, шепнул ему что-то на ухо. Костя боком прошел в темноту. Люба знала, что сейчас, через недолго выйдет Агнейка и велит идти туда, к нему, и тогда будет то счастье, которого так долго ждала Люба, о каком думала всегда и жила для него.

Минут через пять вышла Агнейка. Ласково поглядела на подружку и глазами показала на то место, где ждал Костя. Люба, как во сне, прошла туда, присела на стул. Костя нежно и смело поймал ее горячую руку.

Где-то на свету снова плясал Афришка:

Некрута-некрутики,
Ломали в поле прутики,
Ломали да и ставили,
Сударушек оставили.

4

Наутро выпал снег. Его первородная чистота была похожа на Любину любовь: ни одного пятнышка, ни одной соринки не заметишь на белой крыше Африхиного дома, на улице и везде, куда ни посмотришь.

И вот по этому снегу зачернели вдруг две глубокие колеи от колес. Они протянулись от Африхиного крыльца в отвод, потом в поле и затерялись в холодных притихших окрестностях, затерялись на три долгих года.

— Если бы только на три!

Агнейка и Люба стояли на крыльце и смотрели в поле. Прижавшись друг к дружке, они молчали, думали об одном и том же.

— Пойдем, Любушка...

Агнейка, не осушая своих слез, вытерла платочком побелевшее Любино лицо, смахнула с ее лба прядку от косы.

В прядке крохотными бисеринками поблескивали тающие снежинки.

## *КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ*

# ГУСИ-ЛЕБЕДИ

*...вынесу войну,*
*сто ран приму, но выстою.*
*Себя верну, любовь верну,*
*и щедрую и чистую.*
*Такую щедрую, что в ней*
*не думал об измене я,*
*такую чистую, что ей*
*лишь только ты — сравнение!*
*А. Недогонов*

1

Это случилось ранней осенью на третьем году войны. Возвращаясь с задания, группа партизан-разведчиков наткнулась на вражескую засаду, и из семи человек на базу пришел только один. Он был смертельно ранен, но у него хватило еще сил рассказать в штабе о происшедшем. Командир отряда был человеком молчаливым, и радистка Таня узнала о гибели Сергея Марьянова лишь на второй день. Она неслышно вошла в штабную землянку и остановилась у дверной ниши, завешенной плащ-палаткой. Глядя на ее белые губы и изумленно расширенные глаза, командир охнул и произнес почему-то шепотом:

— Ну... вот и ты.

Девушка не заламывала рук и не билась в истерике, она не плакала и стояла молча. Командир сказал, что место гибели партизан осмотрено вчера еще, но, кроме стреляных гильз, там ничего не найдено.

— Значит, они живы! — жарко выдохнула девушка.— Что же вы сидите? Они же в плену... Их мучают — вы понимаете?! А потом его... всех их повесят на крючьях! Что же вы сидите!

Командир не сказал Тане, что наступающей ночью отряд покидает этот лес, но он объяснил, что город, где сосредоточено до двух полков немцев, им не взять.

Он утешал Таню, старательно припоминая слова поласковее, потом подал ей изношенную полевую сумку и снова сказал почему-то шепотом:

— Это книги его...

За штабной землянкой, в кустах ольхи и крушины, Таня раскрыла сумку. Там лежали красный томик Маяковского, «Тихий Дон» и нетолстая тетрадь стихов Сергея Марьянова. Стихи его Таня знала наизусть — они ей нравились едва уловимой грустью о непережитой юности.

Как во сне она перелистала тетрадь. На листке, помеченном пятым числом сентября, сбились в тесную колонку строчки начатого стихотворения:

Без тебя не быть бойцу поэтом,
Без тебя я выстужу жилье;
Без тебя разуто и раздето
Сердце терпеливое мое...



Эта строфа была трижды перечеркнута, и сбоку предельным нажимом карандаша синело: «Не мое, чужое. Не то!»

— Сергей... Сергей!..— не слыша своего голоса, позвала Таня, продолжая бежать глазами по вымаранным строчкам.

Отшумит тревога грозной были.
Будет день — и я его дождусь:
Не смахнув с ресниц дорожной пыли,
У твоих дверей я постучусь.
Я возьму твои худые руки
Так же, как теперь я их беру,
Расскажу, что в эти дни разлуки...

Зачеркнутую строчку Таня прочесть не смогла. Дальше шло:

Что я помню час рожденья грезы
О далеком счастье новых дней,
И минуты радости, и слезы,
И дымчатый шелк твоих кудрей.
Все, что я любил в тебе без меры,
Торопясь, волнуясь и горя...

Она не смогла читать дальше и, упав на листья ивняка, закричала, глуша голос рукавом телогрейки:

— Сергей! Сергей!

Пятого сентября! Именно тогда Марьянов узнал, что по заданию командования через несколько дней Таня улетает самолетом на Большую землю.

— Серге-е-ей!

В этот день Таня дважды еще появлялась в штабной землянке. Она просила и, наконец, требовала от командира принятия экстренных мер по спасению Марьянова и его товарищей, уверяя, что двести одиннадцать партизан в состоянии разгромить двухтысячный гарнизон немцев.

— Я вполне оценил твои чувства, Таня,— внушительно сказал командир отряда.— Ты — редкая... нет, ты — настоящая русская девушка, и, видно, хорошо быть любимым такой, как ты. Но послушай меня внимательно. Если я прикажу отряду атаковать гарнизон, партизаны выполнят приказ немедленно и, очевидно, все погибнут. И если мы с вами останемся в живых, нас надо будет расстрелять за безрассудность этой затеи!..

Ночью при построении групп для следования отряда на новое место Тани не оказалось в радиоземлянке. На железном ящике из-под немецких медикаментов, служившем радистке тумбочкой, командир нашел записку: «Андрей Дмитриевич! Я взяла две французские гранаты, которые подарил мне Сергей. Пистолет и все четырнадцать патронов оставляю. Запасной аккумулятор стоит у дверей, в углу. Вы снимайтесь и уходите, как решили, а я (это слово зачеркнуто), а мы вас найдем. Вы же сами говорили, что никогда не погибнет тот, кто твердо верит, что будет жив. Я долго думала об этом и не могу представить себя неживой. Ну как это можно, Андрей Дмитриевич! Не ругайте меня, все будет хорошо. Т. Л.».

— Я тебе покажу «хорошо», чертенок! Сумасшедшая девчонка! Дрянь! Я тебя выпорю самолично, обезьяна московская!— кричал командир и уводил глаза в тень, пряча тревогу за судьбу Тани от окруживших его людей.

Он, видно, верил в невероятные случаи, и оттого приказ его двум партизанам-разведчикам звучал так лаконично и ясно:

— Найти. Будет упираться — нести на руках. Запомните новое место расположения отряда. Все!

С получасовым опозданием отряд угрюмо двинулся вперед. А на рассвете, километров за двадцать от покинутой стоянки, партизаны встретили группу Сергея Марьянова. Полуобнаженные, залепленные с ног до головы грязью, шесть человек бросились к товарищам.

— Ты где же был?— тяжело задышал командир отряда, глядя на Марьянова.

Доклад того был короток и обычен: нарвавшись на взвод полевой жандармерии, группа приняла бой, израсходовала боеприпасы и, потеряв одного человека, стала уходить в сторону от базы. Бежали и ползли самыми трясинными местами болот и топей. На вторые сутки жандармы отстали, и только псы, охрипнув от злобы, не прекращали погони. Но двух задушили руками, а остальные... черт их знает, куда они делись, наверное, тоже отстали...

...Размеренной чередой проходили дни. Гибли в боях люди, и хоронили партизаны убитых в местах, недоступных солнцу. В одиночку и группами вливались в отряд новые бойцы, и они, живые, заслоняли образы мертвых. Неслышной, невесомой поступью мял опавшие листья лесов командир отрядной разведки Сергей Марьянов. Приводя на базу схваченных жандармов, он ставил их у сосен и голосом, сдавленным горем, почти вежливо спрашивал:

— Вам не приходилось в своих гестапах допрашивать русскую девушку Таню? Нет? А двух партизан-разведчиков, что были посланы на ее розыски,— тоже нет?

Поздней осенью отряд ушел далеко на юго-восток и вскоре соединился с наступавшими частями своей армии.

## 2

Близился конец войны.

В бою за тот самый город, куда с двумя гранатами ушла полгода назад Таня, гвардии лейтенант Марьянов был тяжело ранен в плечо. В освобожденном городе он лежал в госпитале, разместившемся в здании заводоуправления, у окна с видом на тюремную стену. К ней, почерневшей от времени и не задетой ни единым осколком снаряда, подступала река. Она текла на запад, и в нее постоянно садилось огромное и лохматое солнце. Тогда река пылала нестерпимо жарко, и на черной стене тюрьмы плясали дымно-багровые блики.

В эти минуты у Марьянова всегда начинался бред. Выгибаясь на койке, он порывался к окну, силясь освободиться от грубовато-ласковых рук сестры-сиделки.

— Разве ты не видишь, Андрей Дмитриевич? Не видишь? Они бросают ее в пламя!.. Прямо со стены... Ты что же, Андрей! Пусти... сволочь! Пусти! Таня! Танюша! Потерпи, я сейчас...

Сестра звала на помощь и торопилась опустить на окне штору.

По утрам падала температура. Марьянов лежал тихо и припоминал обрывки вечерних видений: горящая река, сизые фигуры жандармов, бросающие Таню в огонь... А Таня упрямо просит их о пощаде. Да-да, просит! «Как же это она могла?» В голову ее впились две стальные блестящие пластинки, и Таня то и дело трогает их руками. «Что это они сделали с нею?!»

И Марьянов стал нетерпеливо ожидать захода солнца. Ему надо было знать, во что закована голова Тани, и надо было услышать, о чем она просит палачей...

Однажды утром он подозвал сестру.

— Послушайте,— сказал он,— это неправда, будто она испугалась. Ничего подобного! Стальные пластинки на голове — это наушники от рации. От нашей партизанской рации, понимаете! И она звала: «Тайга! Тайга! Я — Лебедь! Я — Лебедь!» Это позывные, понимаете?

— Опять ему плохо! — вздохнула сестра и прислонила ладонь к нежаркому лбу Марьянова.

Потом его унесли на третий этаж. Там, в операционной палате, еще от дверей, с носилок, он увидел в широкое окно прятавшуюся за сте-

ной тюрьму. «Вот она, проклятая! — прошептал Марьянов и стал считать черные провалы окон мрачного здания. — Два, четыре, восемь, двенадцать... В это или вон в то окно Таня видела в последний раз солнце? Наверное, вон в то, угловое, что ближе к реке...»

— На стол. Раздеть! — услыхал он требовательный голос. У главного хирурга госпиталя была бородка клином, и ее плотные прямые щетинки выбивались из-под марлевой маски, как иглы. «Злой, должно быть, старый филин», — неприязненно подумал о нем Марьянов, и, будто в подтверждение его догадки, хирург стал резко выговаривать что-то своим помощникам. Марьянов уловил несколько незнакомых слов. «По-латыни — значит, обо мне», — подумал он и, повернув голову от окна, сказал:

— Не надо, доктор.

— Что не надо? — раздраженно спросил хирург.

— Общего наркоза не надо.

— Ну это, батенька, не ваше дело! Потрудитесь лежать спокойно, — наставительно, но уже без прежней резкости сказал хирург, решив, что его пациент медик, раз ему знакома латынь.

Но хирург ошибался — Марьянов не знал латинского языка. Лежа в госпитале, он незаметно утерял внутреннюю сопротивляемость здорового человека зримому и возможному злу — веру в благополучный конец любых бед. До этого он жил с тревожной, но постоянной мыслью, что Таня, может быть, и жива, мало ли чего хорошего случается на свете! Теперь же он уверовал в гибель Тани и испытывал сложное чувство вины за ее гибель. Вид тюрьмы рождал в его мозгу мучительные картины истязаний любимого человека, и он всем телом, казалось, слышал повисший над землей предсмертный крик Тани. Да, в мире жил этот крик, и Марьянов воображал, что ощущением собственной боли от примет на себя частицу Таниной прошлой муки.

— Не надо наркоза, доктор! — упрямо проговорил он. — У меня слабое сердце... наркоз вреден... и очень крепкие нервы. Можете оперировать, я не буду стонать. Ну пожалуйста, доктор!

— Ну-ну, нечего кокетничать! Слышали наш разговор, а выдаете его за просьбу! — проворчал хирург и обратился к ассистентам:

— Ну-с!

Марьянова раздели и положили на стол.

Он взглянул на свое исхудавшее тело и, устыдившись врачей, отвернулся к окну. «Ну, вот и я, — сказал он мысленно, найдя угловое окно тюрьмы, — вот и я...»

Ноги и правую руку его схватили жесткие ремни, а перед глазами протянулась невысокая белая ширма, скрыв хирурга и его помощника. Торопливо и грубо кто-то снял с плеча его бинт, чьи-то мягкие и приятно холодные пальцы вдумчиво ощупали края раны и вдруг причинили короткую, как удар, боль. Марьянов прикусил губу, но пальцы сбежали по руке к локтю, где тело не чувствовало прикосновений...

Он только раз приглушенно охнул и с силой рванулся всем телом. Тогда хирург показался из-за ширмы и спросил укоризненно:

— Неужели больно?

— Нет... но если бы скорей, — сквозь стиснутые зубы проговорил Марьянов и взмахом ресниц поблагодарил сестру, отершую пот с его лба... Потом за ширмой кто-то уронил то, что в таких случаях принято класть неслышно и бережно.

— Что это упало? — крикнул Марьянов.

— Где упало? Что упало? — прокричал хирург. — Ножницы упали. На пол!

— Рука упала. В таз,— раздельно и тихо сказал Марьянов, а хирург сморщил нос, пошевелил сединой бровей и низко склонился к лицу Марьянова.

— И совсем не рука,— сказал он ласково, как ребенку,— не рука, а кисть. И к тому же — левая кисть. Ну, будьте же до конца умницей...— И запеленатыми в марлю губами поцеловал Марьянова в лоб.

3

Домой!

В те далекие дни редки были пассажирские составы, и на станциях в кассах демобилизованным не продавались плацкарты. Солдаты и офицеры ехали в теплушках, на покатых хребтинах цистерн и на подножках платформ, груженных металлоломом.

Лишь на пятые сутки пути, ночью, Марьянов прибыл на родину Тани. Нетронутый войной городок утопал в темной зелени — и его деревянные домишки дремали в палисадниках, зачарованные тишиной пустынных улиц. Марьянов нескоро отыскал переулок Софьи Перовской и долго сидел у его начала под заборчиком, курил. Потом он размеренным шагом перешел к четной стороне домов и вдруг не выдержал — побежал, гулко ступая сапогами по деревянному настилу тротуара, придерживая рукой прыгающий за спиной мешок...

Домик под цифрой 10 оказался крохотным, хрупким. Смежив ставни, он был как задремавший больной ребенок, и окутавший его лунный сумрак пахнул увядшими цветами, как лекарствами.

Вежливо, просяще Марьянов трижды постучал в ставню. И когда он, сняв фуражку, прижимался ухом к теплой доске ставни, с крыльца окликнул его старческий женский голос:

— Ты што, батюшка?

Марьянов надел фуражку, оправил гимнастерку и только тогда сказал западающим голосом:

— Я с фронта... Я к Лебедевым...

И вот он сидит в маленькой комнатке, увешанной пучками засушенной мяты. О закоптелое стекло лампы потревоженно бьются мухи, и пойманным шмелем гудит усталый голос старушки:

— Сорок ночей ходила я за Петром Григорьевичем, а как помер он, то я и осталась тут... Покараулю, думаю, а вернется Танюшка — передам ей все в целости... А ты, батюшка, кто ж доводишься Лебедевым? Знакомый Петру Григорьевичу али как?

На этажерке, где сиротели учебники для десятого класса, Марьянов нашел свои нераспечатанные письма, что посылал из госпиталя отцу Тани. Он дал старушке банку тушенки и снял со стены Танины фотографии. А на рассвете он покинул город, и умиротворенность справных домишек показалась ему подозрительно невозмутимой, почти нелепой в сравнении с тем городом, откуда он приехал и куда возвращался теперь снова...

...И вот опять знакомое здание госпиталя, тюрьма. Город лежал в руинах, и по неубранным улицам плавали сложные запахи праха. В горкоме партии Марьянова встретили так, как встречали тогда всюду демобилизованных. «Хотите на работу? Хорошо». Он сдал свои документы и на третий день был утвержден директором кирпичного завода.

4

Занимались и гасли мирные теплые зори. Казалось, что пряжа будничных дней однотонна, но из них ткались годы коврами с неповторимыми рисунками событий. И, может быть, зря не написали про-

заики повесть о вставшем из пепла силикатном заводе, а поэты — балладу о кирпичах, сделанных в городе, куда несколько лет тому назад ушла партизанка Лебедева с двумя французскими гранатами...

...Жилье Марьянова казалось большим и пустынным — в комнате не было кровати и буфета с посудой, а кресло, тахта, письменный стол и шкаф с книгами стояли по углам. Окна комнаты выходили в городской парк. Там давным-давно были срыты окопы и разбиты цветники, а на месте погибших в войну осин высажены липы, и в летние месяцы за письменным столом Марьянова пахло медом.

Марьянов поздно возвращался с завода. Подходя к дому, он всегда ускорял шаги и торопливо поднимался по лестнице. Он бесшумно поворачивал в замке ключ и рывком распахивал дверь в свою комнату. Так повторялось каждый день в продолжение двух лет, и каждый раз, никого не увидев в кресле, он называл свое сердце глупым... Ведь это было невероятным, почти абсурдным! Кто мог в его отсутствие прийти и остаться в комнате? Кто?

Он снимал пиджак, бережно вешал его на спинку стула и надевал пижаму. Затем садился за стол и протезом левой руки нажимал кнопку настольной лампы.

Тяжело, мучительно писал свою повесть Марьянов. Командир отряда Андрей Дмитриевич, комиссар Грачев, Таня, партизаны и даже сам он, Марьянов, выступали на страницах рукописи унылыми героями и скучными резонерами, умеющими будто бы ходить особенной ото всех походкой по неровной, изрытой траншеями земле... Марьянов злился и сжигал готовые главы, затем писал новые и снова уничтожал, недовольный.

«Я, наверно, бездарен»,— подумал он однажды и наутро смущенно попросил своего главбуха прочесть неоконченную рукопись.

Анне Львовне было за пятьдесят. Она ходила степенной поступью человека, подглядевшего в жизни какую-то хорошую правду, разговаривала спокойно и тихо, и, когда подбивала баланс, костяшки счетов под ее пальцами звучали заглушенно и мягко, как ссыпаемые в авоську баранки. Марьянов просил ее не торопиться — он может ждать неделю и даже две, но уже на следующий день старался не попадаться на глаза старой женщине, испытывая к ней почтительную робость, почти страх. «Будто я подсунул ей подложный документ и боюсь разоблачения»,— удивился он.

На третий день Анна Львовна вернула Марьянову рукопись.

— Я думаю, Сергей Михайлович, что книгу вашу напечатают,— сказала она.— Вы, наверное, уже давно решили, куда послать ее?

Да, Марьянов решил. Он сказал название журнала, а главбух подтвердила:

— Напечатают, голубчик, напечатают! У вас все там соблюдено, все по традиции...

— А читать это не скучно?— осторожно спросил Марьянов.

Анна Львовна смешно повозилась в кресле:

— Да нет, что же...— И, потрогав концы пояса своей вязаной кофты, вдруг предложила:— А вы забудьте, Сергей Михайлович, будто книгу свою пишете для журнала.

— А для кого же писать?— удивился Марьянов.

— А для нас, голубчик, для людей. А лучше — для любимой девушки своей. Наверное, она у вас ласковая разумница, а таким пишут задушевно и искренне...

5

Журнал, куда Марьянов намеревался послать свою рукопись, опуб-

ликовал накануне войны два его стихотворения. Марьянов был удивлен тогда своей удачей и поражен злой добродетельностью редактора, уничтожившего в стихах все то, что давало им право называться стихами. Он возмутился и послал журналу еще два стихотворения, но ему внушительно разъяснили тогда, что если он стремится со временем стать поэтом, то должен раз навсегда понять, что початки камышей не похожи на факелы, что сизая дымка горизонта — просто туман и пыль великих будней, а романтика вообще — это засаленный салоп, вконец изношенный писателями еще в прихожей редакции журнала «Нива»... Марьянов показал эту рецензию товарищам, и кто-то из студентов назвал его поэзию «салопницей». Он мужественно перенес обиду, и с тех пор, кроме Тани, никто не читал его стихотворений...

Припоминая все это, Марьянов дивился проницательности старой женщины, деликатно указавшей ему на причину серости его книги. Он не колебался и в тот же вечер уничтожил рукопись.

...И вот в заснеженных полях постоянно дует северный ветер. Оледенелые былинки бессмертника тускло лучатся под звездами и звенят хрустально-нежно и печально. В болотах тревожно аукает выпь, и черные султаны камышей колышутся, как погасшие факелы. Леса в новом варианте повести Марьянова всегда наполнены дремлющей тайной и зеленым сумраком.

Он писал легко и вдохновенно, впервые ощутив несказанную радость творчества, и ночи, проводимые за столом, были полны для него изумительно живых общений с минувшей былью. Силой любви и памяти он воскрешал прошлое почти до его физической яви, и временами ему казалось, что он слышит голоса своих героев и шум боя, и не хватало чего-то малого, чтобы перед ним встали живые участники описываемых событий.

Так прошел год, и ни на единый миг Марьянов не разлучался с Таней. Шаг за шагом они вновь проходили исхоженные вместе дороги. Он наделял ее всем, что было самого хорошего в мире, и оттого образ ее в повести был нечеток — тоненькая и высокая, с чуть капризными припухлыми губами, с упрямым чистым лбом и голубыми звездами глаз. Да, были еще косы, но в повести Таня не заплетала их, потому что Марьянову нравилось называть ее волосы метелью...

Повесть близилась к окончанию — Таня ушла из отряда на поиски его, Марьянова. Он проследил ее путь до комендатуры в подневольном городе, и там, у дверей с рослым часовым, Таня остановилась в замешательстве. Она стояла, спрятав руки в карманы летней тужурки, а немец угрюмо глядел на прохожих и вдруг тяжело шагнул к ней... Но это было начало нелепого, отвратительного конца. Таня не должна была подходить к часовому — это опасно, и Марьянов зачеркнул немца. Он вспомнил о французских гранатах, похожих на маленькие глиняные кувшинчики из-под ликера, и без участия Тани яростно запустил их в окна комендатуры, а ее сорвал с места, подхватил и унес из города живой...

Было еще много вариантов свершения Таней своего подвига, и каждый раз Марьянов спасал ее от гибели. Он не мог отдать ее в руки палачей, его воображение отказывалось создавать для нее пытки. Непреложность факта гибели он опровергал любовью, мечтой и надеждой, которые делают бессмертным род человеческий.

Таня жила, и повесть оставалась незаконченной.

6

Стояла осень, и в городском парке пламенели липы. Приходя с работы, Марьянов собирал на столе залетевшие в форточку листья и золотой стопкой складывал их у бюста Маяковского. Однажды Марьянов сказал поэту, как живому:

— Что ж, Владимир Владимирович! Видно, мало быть на вас похожим ростом, голосом и взглядом... Да-да, о том, что я похож на вас, мне давно говорили влюбленные в вас студентки, и, между нами говоря, я немного горжусь этим... Но вот не могли бы вы сказать, как спастись от тоски человеку, когда он совсем-совсем одинок?.. И правда ли, что прошлому верны бывают в жизни только слабые, никчемные люди, которые не имеют настоящего?.. А как понять ваше «вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова»? Может, и вы, Владимир Владимирович, тоже в жизни знали потерю... А? Но разве могут мертвые держать в плену души живых?

Азорские острова... В К-й области, где родился Марьянов, островов нет. Там бескрайние поля, и в них редкими оазисами темнеют рощи. Теперь дубы роняют желуди, и в полях плавают белые нити паутины. Да, теперь там золотая осень, и в лугах, куда он мальчишкой гонял пасти чужих лошадей, в болоте гуртятся утки, собираясь в отлет...

И Марьянов ощутил вдруг неодолимое желание увидеть снова родимые места. Это желание росло в нем с каждой минутой, и далекие были вставали в его памяти чудесной сказкой, наполнявшей сердце какой-то смутной радостью и ожиданием. Он написал в свой трест заявление об отпуске и стал готовиться к отъезду.

Разрешение на отпуск застало его готовым — чемодан и рюкзак лежали упакованными на столе. Накануне отъезда Марьянов пошел в горком.

— Ну что ж, отдохните,— сказал секретарь.— Вы на Кавказ?

— Нет, в свое село.

— А, к родным?

— Д-да,— неопределенно ответил Марьянов и вдруг заторопился:— Я хотел поговорить с вами о своей судьбе, товарищ секретарь...

Он рассказал, что матери и отца не помнит — ему было полтора года, когда их расстреляли белые. А двенадцати лет он ушел в город, унеся обиду на сельчан за неласковость к озорному и упрямому сироте. Да, он был недолгое время беспризорником. Потом... потом все шло как положено. На третьем курсе педагогического института его застала война, и надо было защищать все то, что с таким трудом он накопил в жизни...

Он припомнил, как инструктор обкома партии Андрей Дмитриевич, он и радистка Лебедева тонули с парашютами в болотистой речке Ухлясь, а через два года с частями Советской Армии соединился боевой отряд из трехсот партизан... Он рассказал о Тане и о своей незаконченной повести.

— Я не хочу дальше оставаться в этом городе, ставшем могилой моей мечты,— сказал Марьянов,— и прошу вас не препятствовать моему переезду. За время отпуска я подыщу себе работу.

— Вот что, товарищ директор,— ответил секретарь.— Мы сейчас заедем ко мне домой. Вы возьмете мое ружье и поохотитесь там, куда едете.

Марьянов с горечью подумал, что этот человек ничего не понял из того, что он рассказал.

— У меня ведь одна рука,— сухо напомнил он.

— А вы кладите стволы на ле-

вый локоть и палите! Ружье замечательное, бьет кучно и без малейшей отдачи. Без малейшей! И вот еще что: захватите, пожалуйста, с собой на обратном пути литровочку меда. Я слыхал, будто в ваших краях чудесный мед целебного свойства. Ну и... очень прошу вас, а?

Несколько секунд Марьянов удивленно глядел на секретаря и, отвернувшись к окну, произнес негромко:

— Не надо ружья, Виктор Иванович... Ведь его можно вернуть вам и по почте.

— Да, конечно,— виновато улыбнулся секретарь,— но я прошу вас возвратиться в город. Прошу. Я хочу расстаться с вами другом. Согласны?

7

Шелковка...

Две сотни белых хат двумя посадами рассыпались над речкой, кишащей пескарями и пиявками. Берега речки заросли ивовой дремучью, хаты тонут в садах, а вокруг — безбрежный океан созревающего хлеба, дрожащая синь знойного марева и никогда не потухающее солнце...

Он ушел из села летом, и мир детских впечатлений не представлялся ему в ином времени года. Он вспоминал только летние дни, полные удивительных свершений и восторгов, бесконечные дни, населенные одними радостями, доступ к которым ему никто не запрещал. И он верил, что эти радости живы там и он испытает их снова, как только ступит ногой на полевую тропинку родимого края. Он еще издали низко поклонится селу за то, что родился в нем, и за то, что сохранил к нему бессловесную любовь и преданность...

В районный центр Марьянов приехал вечером. До родного села оставалось восемнадцать верст проселочной дороги, и он пошел пешком, легко неся на плече рюкзак и в руке чемодан. Далеко впереди, влево от дороги, горел костер. В насыщенной звездами ночи жила чуткая тишина, и теплой пряностью недавно прошедшего лета еще дышали облегченные поля.

— Как хорошо! Как хорошо! — шептал Марьянов, шагая по уезженной дороге. Он вспомнил о древнем сторожевом кургане на подходе к селу и решил на нем дождаться утра...

Через полчаса пути костер почти не приблизился. Он тлел ровным неярким светом, и Марьянову почудилось, что он уловил в воздухе ароматный дух испеченной в золе картошки. Это снова вызвало в памяти картинки детства, и в сердце не было боли за себя, воровавшего на чужих огородах картошку и уходившего по вечерам в поле разжигать костер.

Огонек мерцал все ближе и призывней. Через каждые сто шагов Марьянов опускал чемодан на дорогу и взмахивал затекшей рукой, не спуская глаз с красной манящей точки. «Подойду, предложу колбасы за картошку»,— подумал он и свернул с дороги.

У костра, разложенного между двух буртов сахарной свеклы, сидели двое — старик в дубленом полушубке внакидку и молодой в промасленной телогрейке и модной кепке с миниатюрным козырьком. «Сторож и тракторист»,— определил Марьянов и вежливо поздоровался, остановившись у костра. Ему ответил старик — медлительно, с достоинством хозяина.

— Можно мне отдохнуть у вас? — попросил Марьянов.

— Пожалуйста,— прежним тоном отозвался старик.

Люди были незнакомы Марьянову. Они не проявляли внешнего любопытства к нему и, выждав,

пока он уселся чуть в стороне от костра, продолжали свою беседу. Говорил молодой — негромко, раздумчиво, с большими паузами:

— Прилетали они по зорям. Сядут на середину озера, обнимутся шеями и плавают, а белые — как снег. Ну, полюбуются, помилуются, а как солнце взойдет повыше — снимутся и улетят. Бабушка, бывало, говорит: «Храни тебя бог, Данилыч, от причинения обиды птицам. Не тронь их». А дедушка... не стерпел. Подкараулил он их в одно прекрасное утро и полыхнул с берега. И убил самого. А лебедка осталась. Подплыл он на лодке, хочет взять убитого, а она прикрыла его крыльями, сипит на убийцу и норовит клюнуть... Насилу отнял, а ее пожалел, улетела... Дома дед распростал лебедя на полу, крылья — от стенки и до стенки, а глаза — как желтые монисты, и смотрят!.. Бабушка увела тогда меня в лес и сама тоже плакала, жалела старушка загубленную красоту...

Ну, прошел день, другой — всякое ведь дело забывается. Но вот на четвертую зорю на озеро прилетела лебедка — растрепанная, исхудавшая... И начала она метаться: то на воду сядет, то нырнет, то взовьется. И стонет... Понимаешь, Матвеич, в жизни не слыхал я такого крика — одна живая боль! И так каждое утро. Сторожка наша у самого берега стояла — слышно все, и бабушка захворала, не вынесла лебединой тоски. А дед... он тоже переживал, как от зубной боли... Одним словом, не стало жизни нам. Мы с бабушкой начали уговаривать деда перевестись в другое лесничество — это можно было, деда ценили, но он, старый хрыч, нашел другой выход из положения... Как-то с ночи еще собрался в обход будто, а сам залез в кусты на берегу озера и дождался лебедку... Выпалил он по ней, да не попал — руки, верно, тряслись... И вот что получилось, Матвеич. Взвилась лебедка над озером и стала чуть заметной, а потом сложила крылья и камнем прямо на деда, на ружье...

8

Костер дотлевал. Насупясь, старик глядел на золотистую золу, скрестив на коленях руки. Положив под голову рюкзак, Марьянов лежал, ожидая конца лебединой повести. Но рассказчик молчал, и тогда старик спросил сурово:

— Убил?

— Дед хорошо делал чучела,— не сразу отозвался рассказчик.— Все равно ведь лебеди не живут друг без друга, а тут... Ты приезжай когда-нибудь к нам, Матвеич, и увидишь — как живые стоят они рядом и шеями обнялись. Как живые! И потом... дед рассказал, будто кричала лебедка, когда пикировала на ружье, радостно, как при живом лебеде...

— Врал твой дед,— сердито перебил старик,— совесть свою оправдывал. Ишь, придумал: «Не живут друг без друга!» Люди и те живут после гибели любимого человека, а то — вольная птица! Люди-то, потвоему, меньше птичек в любви смыслят, как?

— Может, и не меньше,— глухо ответил парень,— но только у людей чуть что — и готово: нашелся другой или другая...

— А ты сам-то любил?

— А то нет?

— И терял?

— Расходились с согласия...

— Дурак ты, Федор, извини за грубость! Да нешто это любовь у вас была? От такой вашей любви-согласия потом глазам, поди, больно было, как от кизячьего дыма! А настоящая любовь... Она — будто все время в весне ты живешь, в саду... А сад тот цветет и цветет, и ни ему

нет конца, ни твоей радости края, Федор! Да!.. Ты вот лебедей в пример человеку по верности поставил. А я тебе расскажу другую любовь. Человеческую, нашу, русскую...

Очень нескоро старик скрутил цигарку и долго раскуривал ее, захватив двумя пальцами жаркий кизяк.

— Вот слушай,— заговорил он мягко, с выдохом дыма.— Во время войны был на Смоленщине партизанский отряд, может, в тыщу человек, а может, и в две. Контрразведкой в отряде командовал совсем молодой офицер. Отваги он был непостижимой. Наденет, бывалыча, германский мундир с чином генерала или полковника — и к ним: «Гут морген!» Те говорят: «Гут морген».— «Ну, как у вас тут дела идут?» — спрашивает. «Так и так,— отвечают,— плохо».— «Ага. Ну, через денек вам полегчает, подмогу пришлю». А через денек — разгром! Так и работал... А вот беды все же не миновал! Шел он как-тось со своими друзьями-товарищами по лесу — осенью в сорок втором дело было — и напоролся на горе. Стерегли его... Ну человек десять, а то и двенадцать их уложил он сразу — красавец был малый, а сам... Что ж ты сделаешь, когда их тьма-тьмущая насела! Не бессмертный же? Ну и все! А я забыл сказать, что была у него любимая в отряде. Что она за человек — говорить не буду тебе, но знаю, Федор, что с такими не расстаются ни с согласия, ни иным путем... Узнала она о беде-несчастье и пришла к командиру отряда...

Марьянов тихо приподнялся с потеплевшей под ним земли, сел и, круто поставив колени, прижался к ним грудью.

...— Не имею прав,— отвечает генерал,— губить отряд из-за пяти человек. За такое дело меня расстреляют...

И тогда пошла она одна на десять тысяч врагов, понял? Это тебе не на дедово ружье пикировать, как?

— Ты читал это, Матвеич, да?— спросил парень.

— Слу-шай!— приказал старик.— Такое не выдумаешь! Слушай, говорю! Пошла она и целую неделю жила в городе — искала. Да что найдешь, когда кругом сплошные немцы!.. Конечно, может, и надо было ей отомстить там както... из пистолета или из гранаты, но этого она не сделала. Смысла не было, домой обещала вернуться, в отряд, а главное, как я понимаю, не верила она, что попался он немцам... Ушла она из города, исколесила все леса — нет отряда, а дело к зиме, есть нечего, одна. И вот, отчаянная головушка, решилась она идти на прорыв фронта. И думаешь, не прошла бы? Прошла... да всетаки женщина так бабой и останется! На самом подходе к позициям вздумалось ей простирнуть в ручье кой-какие тряпки свои. Присела в кустиках и плескается, а сзади: «Хальт!» Оглянулась — двое! Выхватила она из-за пазухи гранату и и по ногам им, а сама... от испугу, конечно, забыла прилечь, а тут и грохнуло. Немцев наповал, а ее в грудь осколком...

— Ну?— шепотом крикнул Марьянов.— Погибла?

Старик осекся и обиженно спросил:

— Это зачем же нужно? Спаслась!— утвердил он.— Уползла, и в одном хуторе три месяца выхаживали ее добрые люди, пока армия не пришла.

В голове Марьянова рождались и мгновенно гасли необычайные предположения о невероятном. Какое-то время он не следил за рассказом и огромным усилием воли заставил себя слушать былину.

— ...приехала, а багажик — один баульчик да на голове две косы в руку толщиной. Ну ладно.

Начали мы работать: я школу топлю, она перваков учит — живем припеваючи...

«Нет, это не Таня! Разве ей не сказала бы старушка о моем приезде тогда в их город? А отряд? Ведь могла же она разыскать...»

...— «Тихон Матвеич,— спрашивает она,— а с империалистической долго возвращались люди?» — «Да некоторые,— говорю,— аж лет через пять показывались, а других и до сих пор нет». — «Вот видите! И он может еще вернуться. Ведь прошло только четыре года». — «Это конечно,— говорю,— а вы писали куда надо? Телеграммы отбивали?» — «Писала,— говорит,— ответили, что в списках убитых и без вести пропавших нет». — «Значит, он жив,— говорю,— а в отряде о нем ничего не слыхали?» — «Да видите ли, Тихон Матвеич, я,— говорит,— не хотела разыскивать своего командира». — «Это почему же?» — спрашиваю. «Боюсь,— говорит,— я же тяжелое нарушение совершила, самовольную отлучку. Меня и так разыскивал кто-то из отрядных, домой приезжал, фотографии забрал...»

Марьянов лежал не шевелясь. Он смотрел на пушистые, с детства знакомые звезды, и тихие слезы застилали его глаза, и в душе рождалась новая и большая вера в красоту бытия под этим небом.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Георгий Баженов.* Другу смотри в глаза . . . . . . . . 1
*Евгений Носов.* Варька . . . . . . . . . . . . . . . . 12
*Виктор Потанин.* Соловьи . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
*Владимир Крупин.* Песок в корабельных часах . . . . . . 33
*Юрий Казаков.* Голубое и зеленое . . . . . . . . . . 37
*Василий Белов.* Люба-Любушка . . . . . . . . . . . . . 55
*Константин Воробьев.* Гуси-лебеди . . . . . . . . . . . 64

Р2
С60

*Составитель И. Курамжина*

*Художник Е. Андреева*

С60 **Соловьи:** Рассказы о первой любви /Сост. И. Курамжина; Худож. Е. Андреева.— М.: Современник, 1986.— 77 с., ил.— (Отрочество. Серия книг для подростков).

В сборник вошли рассказы известных советских писателей о первой любви.

$С\frac{4803010102-348}{М106(03)-86}$ 282—87

ББК84Р7
Р2

Составитель **Ирина Александровна Курамжина**

СОЛОВЬИ

*Рассказы о первой любви*

Редактор
*О. ГОЛЕВА*
Художественный редактор
*Г. САЛЕНКОВ*
Технический редактор
*В. КОТОВА*
Корректоры
*И. ПОПОВА, Г. СЕЛЕЦКАЯ*

ИБ № 4549.
Сдано в набор 08.07.86. Подписано к печати 23.09.86. А13614. Формат 70×100/16. Гарнитура об. нов. Печать офсетная. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 13,49. Уч.-изд. л. 6,33. Тираж 1 000 000 экз. Заказ № 1103. Цена 20 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46









ОТРОЧЕСТВО
СЕРИЯ КНИГ
ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ

*Юный читатель!*

*В следующей книге серии «Отрочество» Вы сможете прочитать «Октябрьские рассказы» русского советского писателя Николая Семеновича Тихонова, в основу которых легло самое грандиозное историческое событие — Великая Октябрьская социалистическая революция.*

*«Современник».*